

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

КНЯЗЬ

СЕРЕБРЯНЫЙ

(СБОРНИК)

Алексей Толстой

Князь Серебряный (сборник)

«Public Domain»

Толстой А. К.

Князь Серебряный (сборник) / А. К. Толстой — «Public Domain»,

Граф Алексей Константинович Толстой (1817–1875) остался бы в истории русской поэзии и литературы благодаря одному только лирическому шедевру «Средь шумного бала...». А ведь им создано могучее историческое полотно «Князь Серебряный», знаменитая драматургическая трилогия о русских царях, неувядаемая сатира «История государства Российского...», злободневная и по сей день. Бесценен его вклад в сочинения небезызвестного Козьмы Пруtkова. Благородный талант А.К.Толстого, его творчество до сих пор остаются живым литературным явлением.

Содержание

Николай Гумилев. Гр. А. К. Толстой	5
Литературная исповедь	7
И ничего в природе нет, что бы любовью не дышало	11
Средь шумного бала	26
И зовут друг друга журавли	34
Душистые ветки акации белой	40
Против течения	89
Благословляю я свободу	104
ГРЕШНИЦА	104
ИОАНН ДАМАСКИН	110
Упырь	129
Конец ознакомительного фрагмента.	159

Алексей Константинович Толстой

Князь Серебряный (Сборник)

Николай Гумилев. Гр. А. К. Толстой

1

Алексей Толстой сам описал свою жизнь в письме к итальянскому профессору де Губернату, которое мы приводим ниже. Нам остается только добавить несколько подробностей.

Родителями Алексея Толстого были гр. Константин Петрович Толстой и Анна Алексеевна Перовская, побочная дочь известного вельможи, гр. Алексея Кирилловича Разумовского. Их брак был несчастлив, и, спустя несколько недель после рождения ребенка, супруги разошлись навсегда.

Поэт был широкоплеч, несколько грузен, отличался богатырским здоровьем и большой физической силой: гнул пальцами медные пятаки и сплетал зубцы вилки, как женскую косу. В молодости чертами лица он напоминал Льва Толстого, с которым находится только в весьма отдаленном родстве. Характера он был мягкого, легко поддающегося женскому влиянию, сперва влиянию матери, умной и властолюбивой, потом жены Софьи Андреевны Миллер, рожденной Бахметевой, одной из образованнейших женщин своего времени. В нем своеобразно сплеталась любовь к философии и постижению тайн бытия с беззлобным, но метким и изящным юмором.

Около половины своей жизни он провел за границей, большей частью в Германии, которую, подобно многим русским половины прошлого века, готов был счесть своей второй родиной.

Умер он 28 сентября 1875 г. вследствие отравления морфином, к которому, страдая астмой, вынужден был прибегать.

2

В сороковых годах, когда Алексей Толстой выступил на литературное поприще, героический период русской поэзии, характеризуемый именами Пушкина и Лермонтова, закончился. Новое поколение поэтов, Толстой, Майков, Полонский, Фет, не обладало ни гением своих предшественников, ни широтой их поэтического кругозора. Современная им западная поэзия не оказала на них сколько-нибудь заметного влияния, ясность пушкинского стиха у них стала гладкостью, лермонтовский жар души – простой теплотой чувства.

Творчество Алексея Толстого отличается повышенной жизнерадостностью. В его лирике мы видим не только переживания, но и их рамку, обстоятельства, породившие их; в исторических балладах – не только описание событий, но и оценку их, часто своеобразную, выясняющую их значение для нас. Убежденный поборник свободы, ценитель европейской культуры, Толстой любит вспоминать киевский период русской истории, гражданственность и внутреннюю независимость Киевской Руси, ее постоянную и прочную связь с Западом. Московский период вызывает в нем ужас и негодование, а отголосок его в современности – острую и смелую насмешку. Из-за этого его пьесы запрещались к постановке, стихи – к печатанию. Но это не

привлекало к нему симпатий передовой молодежи, мнением которой поэт искренне гордился, хотя не мог и не хотел подделываться под ее вкус. Напротив, в ряде стихотворений он боролся с царившим в его время материалистическим отношением к жизни, провозглашая себя жрецом чистой красоты и сторонником искусства, что не нравилось тогдашней передовой критике и вызывало с ее стороны немало нападок. Он сам очень верно определяет свое положение между двумя полюсами русской общественной мысли:

Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я был рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

3

Впервые в печати Алексей Толстой выступил с повестью «Упырь», изданной под псевдонимом Красногорского, в 1841 году. Тогда же он начинает работать над большим романом из эпохи Иоанна Грозного «Князь Серебряный», которому суждено появиться в печати только в шестидесятых годах. С 1854 года поэт печатается постоянно. В продолжение десяти лет появляются почти все его лирические стихотворения и большая часть поэм. К этому же периоду относятся его шутки и пародии под псевдонимом Кузьмы Пруtkова, написанные совместно с его двоюродными братьями – Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми. Затем следует многолетняя работа над драматической трилогией «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис», прерываемая писанием исторических баллад. Драма из новгородской жизни «Посадник» не была окончена, так как начало ее не было одобрено женой поэта, – и появилась только после его смерти.

Наибольшим распространением пользовался роман «Князь Серебряный», вышедший в десятках изданий и переведенный на все европейские языки. Стихотворения и трилогия тоже переиздавались много раз.

Литературная исповедь

Ментона, 4 марта 1874.

Вилла Parc Tranquille

Любезнейший де Губернатис ¹,

Постоянно страдая невралгией головы и удушьями, которые лишь изредка дают мне передышку, я до сих пор не имел возможности поблагодарить Вас за присылку Вашей драмы и за Ваше дружеское намерение говорить обо мне в публичной лекции². Мы с женой вместе прочли «Romolo» и пришли в восторг от оригинальности, с которой Вы обработали этот сюжет, от добросовестной эрудиции, которую Вы проявили в этом произведении, и от поэтической формы, в которую Вы его облекли. Добавлю от себя лично, что, не являясь вообще приверженцем символизма в поэзии, я делаю исключение для Вашего «Romolo», вследствие глубокой искренности высказанных Вами мыслей и оригинальности колорита, который Вам удалось им придать³. В письме к моей жене Вы просите у нее биографических подробностей, касающихся моей литературной деятельности. Она уже кое-что сообщила Вам, но и я сам, со своей стороны, постараюсь представить Вам возможно более полную исповедь, ибо это единственный способ, которым я могу показать, насколько я признателен Вам за Ваше внимание ко мне и как ценно для меня, чтобы обо мне знал такой человек, как Вы. Не будьте же в претензии, если это желание сделает меня многословным. Вы выберете подходящее для Вас из всего, что я Вам сообщу, и простите мне остальное ради моего величайшего к Вам доверия. Итак, я начинаю:

Я родился в С.-Петербурге в 1817 году, но уже шести недель от роду был увезен в Малороссию своей матерью и дядей с материнской стороны г-ном Алексеем Перовским, впоследствии попечителем Харьковского университета, известным в русской литературе под псевдонимом Антоний Погорельский. Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его имении, поэтому я и считаю Малороссию своей настоящей родиной. Мое детство было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов, страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне и поныне. Воспитание мое по-прежнему продолжалось дома. В возрасте 8 или 9 лет я отправился вместе со своими родными в Петербург, где был представлен цесаревичу, ныне императору всероссийскому, и допущен в круг детей, с которыми он проводил воскресные дни. С этого времени благосклонность его ко мне никогда не покидала меня. В следующем году мать и дядя взяли меня с собою в Германию. Во время нашего пребывания в Веймаре дядя повел меня к Гёте, к которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нем говорили все окружающие. От этого посещения в памяти моей остались величественные черты лица Гёте и то, что я сидел у него на коленях. С тех пор и до семнадцатилетнего возраста, когда я выдержал выпускной экзамен в Московском университете⁴, я беспрестанно путешествовал с родными как по России, так и за границей, но постоянно возвращался в имение, где протекали мои первые годы, и

¹ Губернатис Анджело (1840–1913) – итальянский историк литературы, литературный критик.

² Эта лекция была прочитана Губернатисом во Флоренции 28 марта 1874 г. Напечатана в журнале «La Rivista Europea», 1874, vol. 2, fasc. 3, maggio, «Il conte Alessio Tolstoi».

³ Стихотворная драма Губернатиса «Romolo» помещена в его журнале «La Rivista Europea», 1873, vol. 1, fasc. 1, dicembre.

⁴ В декабре 1835 г. Это были экзамены «из предметов, составляющих курс наук словесного факультета для получения ученого аттестата на право чиновников первого разряда» («Русская старина», 1900, № 12, стр. 686).

всегда испытывал особое волнение при виде этих мест. После смерти дяди, сделавшего меня своим наследником, я в 1836 году⁵ был, по желанию матери, причислен к русской миссии при Германском сейме во Франкфурте-на-Майне; затем я поступил на службу во II Отделение собственной е. и. в. канцелярии, редактирующее законы. В 1855 году я пошел добровольцем в новообразованный стрелковый полк императорской фамилии, чтобы принять участие в Крымской кампании; но нашему полку не пришлось быть в деле, он дошел только до Одессы, где мы потеряли более тысячи человек от тифа, которым заболел и я. Во время коронации в Москве император Александр II изволил назначить меня флигель-адъютантом. Но так как я никогда не готовился быть военным и намеревался оставить службу тотчас же после окончания войны, я вскоре представил мои сомнения на усмотрение е. в., и государь император, приняв мою отставку с обычной для него благосклонностью, назначил меня егермейстером своего двора; это звание я сохраняю до настоящего времени. Вот летопись внешних событий моей жизни. Что же касается до жизни внутренней, то постараюсь поведать Вам о ней, как сумею.

С шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи – настолько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике в обложке грязно-красного цвета. Внешний вид этой книги врезался мне в память, и мое сердце забилося бы сильнее, если бы я увидел ее вновь. Я таскал ее за собою повсюду, прятался в саду или в роще, лежа под деревьями, и изучал ее часами. Вскоре я уже знал ее наизусть, я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью. Я продолжал упражняться в течение многих лет, совершенствуясь насколько мог, но печататься начал лишь в 1842 году⁶, причем дебютировал не стихами, а несколькими рассказами в прозе. В 1855 году я напечатал впервые в разных журналах несколько лирических и эпических стихотворений⁷, позднее же помещал свои стихи ежегодно в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике».

Так как Вы желали иметь характеристику моей духовной жизни, то скажу Вам, что, кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или иная картина или статуя, равно как и хорошая музыка, производили на меня такое сильное впечатление, что волосы мои буквально поднимались на голове. Тринадцати лет от роду⁸ я совершил с родными первое путешествие в Италию. Невозможно было бы передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, который произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей душе, предчувствовавшей их еще до того, как я их увидел воочию. Мы начали с Венеции, где дядя мой сделал значительные приобретения в старинном дворце Гримани. В их числе был приписываемый Микеланджело бюст молодого фавна, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю; в настоящее время он находится в С.-Петербурге и принадлежит графу Павлу Строганову. Когда его перенесли в отель, где мы жили, я не отходил от него. Ночью я вставал посмотреть на него, и нелепейшие страхи терзали мое воображение. Я задавал себе вопрос, что я смогу сделать для спасения этого бюста, если в отеле вспыхнет пожар, и пробовал поднять его, чтобы убедиться, смогу ли я унести его на руках. Из Венеции мы отправились в Милан, во Флоренцию, в Рим и в Неаполь, и в каждом из этих городов увеличивались во мне энтузиазм и любовь к искусству, так что по возвращении в Россию я впал в настоящую *тоску по родине* – по Италии, в какое-то отчаянье, отказываясь от пищи и рыдая по ночам, когда сны уносили меня в мой потерянный рай. К этой страсти к Италии вскоре присоединилась другая, составлявшая с нею странный контраст, на первый взгляд могущий

⁵ В начале 1837 г.

⁶ В мае 1841 г., когда вышел «Упырь».

⁷ В 1854 г., а первое стихотворение («Бор сосновый в стране одинокой стоит...») было напечатано еще в 1843 г.

⁸ В 1831 г.

показаться противоречием: это была страсть к охоте. С двадцатого года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жаром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я состоял при дворе императора Николая⁹ и вел весьма светскую жизнь, имевшую для меня известное обаяние; тем не менее я часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищами, но обычно один. Среди наших записных охотников на медведей и лосей я с головой погрузился в стихию, так же мало согласовавшуюся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным положением; это увлечение не осталось без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написаны в мажорном тоне, тогда как мои соотечественники творили большею частью в минорном. В старости я намерен описать многие захватывающие эпизоды из этой жизни в лесу, которую я вел в лучшие свои годы и от которой теперешняя моя болезнь оторвала меня, быть может, навсегда. Теперь же могу только сказать, что любовь моя к нашей дикой природе проявлялась в моих стихотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойственное мне чувство пластической красоты.

Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить то, что низко, но унижить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить еще к этому ненависть к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии. Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой пропаганды.

Эта точка зрения прямо противоречит доктрине, царящей в наших журналах, и потому, делая мне честь считать меня главным представителем враждебных им идей, они осыпают меня бранью с пылом, достойным лучшего применения. Наша печать почти целиком находится в руках террористов-социалистов, поэтому я являюсь мишенью для грубых нападок со стороны многочисленной клики, у которой свои лозунги и свой заранее составленный проскрипционный список. Читающая же публика, наоборот, высказывает мне несомненное расположение.

Моим первым крупным произведением был исторический роман, озаглавленный «Князь Серебряный». Он выдержал три издания, его очень любят в России, особенно представители низших классов. Имеются переводы его на французский, немецкий, английский, польский и итальянский языки. Последний, сделанный три года назад веронским профессором Патуччи в сотрудничестве с одним русским, г-ном Задлером, появился в миланской газете «La perseveranza». Он очень хорош и выполнен весьма добросовестно. Затем мною была написана трилогия «Борис Годунов» в трех самостоятельных драмах, первая из которых, «Смерть Иоанна Грозного», часто шла на сцене в С.-Петербурге, а также в провинции, где она, впрочем, запрещена в настоящее время циркуляром министра внутренних дел. Шла она с большим успехом и в Веймаре в прекрасном немецком переводе г-жи Павловой. Существуют ее переводы на французский, английский и польский языки. Вторая часть трилогии, «Царь Федор» (переведенная на немецкий и на польский), была запрещена для постановки, как только появилась в печати. Это – самое лучшее из моих стихотворных и прозаических произведений, и в то же время оно вызвало больше всего нападок в печати. В связи с этим я должен упомянуть выпущенную мною брошюру, где даны указания к ее постановке и где, между прочим, опроверг-

⁹ Речь идет о придворном звании камер-юнкера, которое Толстой получил в 1843 г. С 1851 г. – церемониймейстер.

нуты доводы, на основании которых она была запрещена для сцены. Третья часть трилогии называется «Царь Борис»; на сцену она тоже не была принята¹⁰.

Есть также собрание моих лирических и эпических стихотворений, к которым присоединена драматическая поэма «Дон Жуан», переведенная на немецкий язык г-жою Павловой. Со времени издания этого сборника я написал много баллад и лирических стихотворений, рассеянных, главным образом, в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике»; из них я намерен в скором времени составить новый сборник. Лучшее из своих баллад считаю я ту, которая называется «Легенда»: она напечатана в «Вестнике Европы» за 1869 год¹¹. Среди стихотворений, не вошедших в сборник, есть одно под заглавием «Поток-богатырь», в котором в сатирической форме изложены мои социально-политические взгляды. Оно имело огромный успех по всей России и навлекло на меня целую лавину оскорблений со стороны журналов. Три года назад оно было упомянуто в Вашей «Rivista Europea».

Резюмируя свое положение в нашей литературе, могу сказать не без удовольствия, что представляю собою пугало для наших демократов-социалистов и в то же время являюсь любимцем народа, покровителями которого они себя считают. Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, в то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером.

Вот, любезнейший мой де Губернатис, моя история, как внешняя, так и внутренняя. Боюсь, что она показалась Вам чересчур длинной, но, во всяком случае, я избавил Вас от своих сердечных дел, которые, принимая во внимание, как напряженно переживаются мною и страдания и радости, сыграли немаловажную роль в моей жизни и не могли не отразиться в произведениях. Впрочем, думаю, что в этом я разделяю судьбу всех вообще поэтов. Итак, я заканчиваю свое бесконечное письмо, крепко пожимая Вам руку, с просьбой напомнить обо мне Вашей супруге и поцеловать от меня Корделию и нового спутника, которого Вы ей дали. Господь да хранит всех вас!

Всем сердцем Ваш
Алексей Толстой

¹⁰ В отличие от «Царя Федора Иоанновича», «Царь Борис» был разрешен цензурой, но не был принят к постановке дирекцией императорских театров.

¹¹ Толстой имеет в виду «Былину» (первоначальное заглавие «Змея Тугарина»), напечатанную в 1868 г. в ВЕ.

И ничего в природе нет, что бы любовью не дышало

Совершенно удивительный был человек (и поэт, конечно)!
И. А. Бунин (письмо к М. В. Карамзиной, 1939 г.)

* * *

Бор сосновый в стране одинокой стоит:
В нем ручей меж деревьев бежит и журчит.
Я люблю тот ручей, я люблю ту страну,
Я люблю в том лесу вспоминать старину.
«Приходи вечером в бор дремучий тайком,
На зеленом садись берегу ты моем!
Много лет я бегу, рассказать я могу,
Что случилось когда на моем берегу.
Из сокрытой страны я сюда прибежал,
Я чудесного много дорогой узнал!
Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет
И звезда средь моих закачается вод,
Приходи ты тайком, ты узнаешь о том,
Что бывает порой здесь в тумане ночном!»
Так шептал, и журчал, и бежал ручеек;
На ружье опершись, я стоял одинок,
И лишь говор струи тишину прерывал,
И о прежних я грустно годах вспоминал.

ПОЭТ

В жизни светской, в жизни душевной
Песнопевца не узнать!
В нем личиной равнодушной
Скрыта божия печать.

В нем таится гордый гений,
Душу в нем скрывает прах,
Дремлет уря вдохновений
В отдыхающих струнах.

Жизни ток его спокоен,
Как река среди равнин,
Меж людей он добрый воин

Или мирный гражданин.

Но порой мечтою странной
Он томится одинок;
В час великий, в час неожиданный
Пробуждается пророк.

Свет чела его коснется,
Дрожь по жилам пробежит,
Сердце чутко встрепенется —
И исчезнет прежний вид.

Ангел, Богом вдохновенный,
С ним беседовать слетел,
Он умчался дерзновенно
За вещественный предел...

Уже, вихрями несомый,
Позабыл он здешний мир,
В облаках под голос грома
Он настроил свой псалтырь,

Мир далекий, мир незримый
Зрит его орлиный взгляд,
И от крыльев херувима
Струны мощные звучат!

Начало 1840-х годов

* * *

Колокольчики мои,
Цветики степные
Что глядите на меня,
Темно-голубые?

И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?

Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!

Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!

Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой, —
А куда? не знаю!

Он ученым ездоком
Не воспитан в холе,
Он с буранами знаком,
Вырос в чистом поле;

И не блещет как огонь
Твой чепрак узорный,
Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!

Есть нам, конь, с тобой простор
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной.

Чем окончится наш бег?
Радостью ль? кручиной?
Знать не может человек —
Знает Бог единый!

Упаду ль на солончак

Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак,
С бритой головою,

Молча свой натянет лук,
Лежа под травой,
И меня догонит вдруг
Медною стрелою?

Иль влетим мы в светлый град
Со кремлем престольным?
Чудно улицы гудят
Гулом колокольным,

И на площади народ,
В шумном ожиданье,
Видит: с запада идет
Светлое посланье.

В кунтушах и в чекменах,
С чубами, с усами,
Гости едут на конях,
Машут булавами,

Подбочась, за строем строй
Чинно выступает,
Рукава их за спиной
Ветер раздувает.

И хозяин на крыльцо
Вышел величавый;
Его светлое лицо
Блещет новой славой;

Всех его исполнил вид
И любви и страха,
На челе его горит
Шапка Мономаха.

«Хлеб да соль! И в добрый час! —
Говорит державный, —

Долго, дети, ждал я вас
В город православный!»

И они ему в ответ:
«Наша кровь едина,
И в тебе мы с давних лет
Чаем господина!»

Громче звон колоколов,
Гусли раздаются,
Гости сели вокруг столов,
Мед и брага льются,

Шум летит на дальний юг
К турке и к венгерцу —
И ковшей славянских звук
Немцам не по сердцу!

Гой вы, цветики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?

И о чем грустите вы
В день веселый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?

1840-е годы

* * *

Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора,
Среди садов деревья гнутся долу
И до земли висит их плод тяжелый?

Шумя, тростник над озером трепещет,
И чист, и тих, и ясен свод небес,
Косарь поет, коса звенит и блещет,

Вдоль берега стоит кудрявый лес,
И к облакам, клубясь над водою,
Бежит дымок синеющей струей?

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,
Туда, где сердцу было так легко,
Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицко,
И парубки, кружась на пожне гладкой,
Взрывают пыль веселою присядкой!

Ты знаешь край, где нивы золотые
Испещрены лазурью васильков,
Среди степей курган времен Батыя,
Вдали стада пасущихся волов,
Обозов скрип, ковры цветущей гречи
И вы, чубы – остатки славной Сечи?

Ты знаешь край, где утром в воскресенье,
Когда росой подсолнечник блестит,
Так звонко льется жаворонка пенье,
Стада блеят, а колокол гудит,
И в божий храм, увенчаны цветами,
Идут казачки пестрыми толпами?

Ты помнишь ночь над спящею Украйной
Когда седой вставал с болота пар,
Одет был мир и сумраком и тайной,
Блистал над степью искрами стожар,
И мнилось нам: через туман прозрачный
Несутся вновь Палей и Сагайдачный?

Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи
Где столько тел лежало средь полей?
Ты знаешь край, где некогда у плахи
Мазепу клял упрямый Кочубей
И много где пролито крови славной
В честь древних прав и веры православной?

Ты знаешь край, где Сейм печально воды
Меж берегов осиротелых льет,
Над ним дворца разрушенные своды,
Густой травой давно заросший вход,

Над дверью щит с гетманской булавою?...
Туда, туда стремлюся я душою!

1840-е годы

ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ

Из Индии дальней
На Русь прилетев,
Со степью печальной
Их свyksя напев,

Свободные звуки,
Журча, потекли,
И дышат разлукой
От лучшей земли.

Не знаю, оттуда ль
Их негa звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит;

В них голос природы,
В них гнева язык,
В них детские годы,
В них радости крик;

Желаний в них знойный
Я вихрь узнаю,
И отдых спокойный
В счастливом краю,

Бенгальские розы,
Свет южных лучей,
Степные обозы,
Полет журавлей,

И грозный шум сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!

1840-е годы

* * *

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

Безмолвные аллеи,
Заглохший, старый сад,
В высокой галерее
Портретов длинный ряд?

Ты помнишь ли, Мария,
Вечерний небосклон,
Равнины полевые,
Села далекий звон?

За садом берег чистый,
Спокойный бег реки,
На ниве золотистой
Степные васильки?

И рошу, где впервые
Бродили мы одни?
Ты помнишь ли, Мария,
Утраченные дни?

1840-е годы

БЛАГОВЕСТ

Среди дубравы
Блестит крестами
Храм пятиглавый
С колоколами.

Их звон призывный
Через могилы
Гудит так дивно
И так уныло!

К себе он тянет
Неодолимо,
Зовёт и манит
Он в край родимый,

В край благодатный,
Забытый мною, —
И, непонятной
Томим тоскою,

Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;

Далеко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я
Лечу небесные,

И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает...

1840-е годы

* * *

Шумит на дворе непогода,
А в доме давно уже спят;
К окошку, вздохнув, подхожу я —
Чуть виден чернеющий сад:

На небе так тёмно, так тёмно,
И звездочки нет ни одной,
А в доме старинном так грустно
Среди непогоды ночной!

Дождь бьет, барабаня, по крыше,

Хрустальные люстры дрожат;
За шкапом проворные мыши
В бумажных обоях шумят;

Они себе чуют раздолье:
Как скоро хозяин умрет,
Наследник покинет поместье,
Где жил его доблестный род —

И дом навсегда запустеет,
Заглохнут ступени травой...
И думать об этом так грустно
Среди непогоды ночной!..

1840-е годы

* * *

Дождя отшумевшего капли
Тихонько по листьям текли,
Тихонько шептались деревья,
Кукушка кричала вдали.

Луна на меня из-за тучи
Смотрела, как будто в слезах;
Сидел я под кленом и думал,
И думал о прежних годах.

Не знаю, была ли в те годы
Душа непорочна моя?
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.

Теперь же мне стали понятны
Обман, и коварство, и зло,
И многие светлые мысли
Одну за другой унесло.

Так думал о днях я минувших,
О днях, когда был я добрей;
А в листьях высокого клена
Сидел надо мной соловей,

И пел он так нежно и страстно,
Как будто хотел он сказать:
«Утешься, не сетуй напрасно —
То время вернется опять!»

1840-е годы

* * *

Ой стоги, стоги,
На лугу широком!
Вас не перечесть,
Не окинуть оком!

Ой стоги, стоги,
В зеленом болоте,
Стоя на часах,
Что вы стережете?

«Добрый человек,
Были мы цветами, —
Покосили нас
Острыми косами!

Раскидали нас
Посредине луга,
Раскидали врозь,
Дале друг от друга!

От лихих гостей
Нет нам обороны,
На главах у нас
Черные вороны!

На главах у нас,
Затмевая звезды,
Галок стая вьет
Поганые гнезда!

Ой орел, орел,

Наш отец далекий,
Опустися к нам,
Грозный, светлоокий!

Ой орел, орел,
Внемли нашим стонам,
Доле нас срамить
Не давай воронам!

Накажи скорей
Их высокомерье,
С неба в них ударь,
Чтоб летели перья,

Чтоб летели врозь,
Чтоб в степи широкой
Ветер их разнес
Далеко, далёко!»

1840-е годы

* * *

По гребле неровной и тряской,
Вдоль мокрых рыбацких сетей,
Дорожная едет коляска,
Сижусь я задумчиво в ней, —

Сижусь и смотрю я дорогой
На серый и пасмурный день,
На озера берег отлогий,
На дальний дымок деревень.

По гребле, со взглядом угрюмым,
Проходит оборванный жид,
Из озера с пеной и шумом
Вода через греблю бежит.

Там мальчик играет на дудке,
Забравшись в зеленый тростник;
В испуге взлетевшие утки
Над озером подняли крик.

Близ мельницы старой и шаткой
Сидят на траве мужики;
Телега с разбитой лошадкой
Лениво подвозит мешки...

Мне кажется все так знакомо,
Хоть не был я здесь никогда:
И крыша далекого дома,
И мальчик, и лес, и вода,

И мельницы говор унылый,
И ветхое в поле гумно...
Все это когда-то уж было,
Но мною забыто давно.

Так точно ступала лошадка,
Такие ж тащила мешки,
Такие ж у мельницы шаткой
Сидели в траве мужики,

И так же шел жид бородатый,
И так же шумела вода...
Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда!

1840-е годы

* * *

Милый друг, тебе не спится,
Душен комнат жар,
Неотвязчивый кружится
Над тобой комар.

Подойди сюда, к окошку,
Все кругом молчит,
За оградой дорожку
Месяц серебрит.

Не скрипят в сенях ступени,

И в саду темно,
Чуть заметно в полутени
Дальнее гумно.

Встань, приют тебя со мною
Там спокойный ждет;
Сторож там, звеня доскою,
Мимо не пройдет.

1840-е годы

ПУСТОЙ ДОМ

Стоит опустелый над сонным прудом,
Где ивы поникли главой,
На славу Растреллием строенный дом,
И герб на щите вековой.

Окрестность молчит среди мертвого сна,
На окнах разбитых играет луна.
Сокрытый кустами, в забытом саду
Тот дом одиноко стоит;

Печально глядится в зацветшем пруду
С короною дедовский щит...
Никто поклониться ему не придет, —
Забыли потомки свой доблестный род!

В блестящей столице иные из них
С ничтожной смешались толпой;
Поветрие моды умчало других
Из родины в мир им чужой.

Там русский от русского края отвык,
Забыл свою веру, забыл свой язык!
Крестьян его бедных наемник гнетет,
Он властвует ими один;

Его не пугают роптанья сирот...
Услышит ли их господин?
А если услышит – рукою махнет...
Забыли потомки свой доблестный род!

Лишь старый служитель, тоской удручен,
Младого владетеля ждет,
И ловит вдали колокольчика звон,
И ночью с одра привстает...

Напрасно! все тихо средь мертвого сна,
Сквозь окна разбитые смотрит луна,
Сквозь окна разбитые мирно глядит
На древние стены палат;

Там в рамах узорчатых чинно висит
Напудренных прадедов ряд.
Их пыль покрывает, и червь их грызет.
Забыли потомки свой доблестный род!

1849

* * *

Пусто в покое моем. Один я сижу у камина,
Свечи давно погасил, но не могу я заснуть.
Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах,
Книги лежат на полу, письма я вижу кругом.

Книги и письма! Давно ль вас касалась ручка младая?
Серые очи давно ль вас пробегали, шутя?
Медленно катится ночь надо мной тяжелою тканью,
Грустно сидеть одному. Пусто в покое моем!

Думаю я про себя, на цветок взирая увядший:
«Утро настанет, и грусть с темною ночью пройдет!»
Ночь прокатилась, и весело солнце на окнах играет,
Утро настало, но грусть с тенью ночной не прошла!

15 января 1851

Средь шумного бала

* * *

1851

...У меня столько противоречивых особенностей, которые приходят в столкновение, столько желаний, столько потребностей сердца, которые я силюсь примирить, но стоит только слегка прикоснуться, как все это приходит в движение, вступает в борьбу; от тебя я жду гармонии и примирения всех этих потребностей. Чувствую, что никто, кроме тебя, не может меня исцелить, ибо все мое существо растерзано. Я, как мог, зашивал и подправлял все это, но много еще надо переделывать, менять, заживлять. Я живу не в своей среде, не следую своему призванию, не делаю то, что хочу, во мне – полный разлад, и в этом, может быть, секрет моей лени, потому что я, в сущности, деятелен по природе... Те элементы, из которых составилось мое существо, сами хороши, но взяты они были наудачу и пропорции – не соблюдены. Ни в моей душе, ни в моем уме нет балласта. Ты должна вернуть мне равновесие... В твоём дневнике я нашел такие строки: «Для достижения истины надо раз в жизни освободиться от всех усвоенных взглядов и заново построить всю систему своих знаний». С какою бы радостью я при твоей помощи потрудился над этой перестройкой. Я – словно какой-нибудь сарай или обширная комната, полная всяких вещей, весьма полезных, порой – весьма драгоценных, но наваленных кое-как одна на другую; с тобой я и хотел бы разобраться и навести порядок.

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер ¹²

* * *

1851

...Я стараюсь интересоваться оперой и другими вещами, но стоит мне на мгновение забыть, как я тотчас же погружаюсь в небытие. Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, какая она есть, не ищи ей причины, не ищи ей названия, как врач ищет названия для болезни, не определяй ей места, не анализируй ее. Бери ее, какая она есть, бери не вникая, я не могу дать тебе ничего лучшего, я дал тебе все, что у меня было самого драгоценного, ничего лучшего у меня нет... Ты мне говоришь, что я не смогу любить тебя так всегда. Я это знаю и сам; это не новость, это в порядке вещей, что такое восторженное возбуждение проходит: так оно есть и так должно быть. Цветок исчезает, но остается плод, остается растение; поверь мне, то, что останется, будет еще достаточно прекрасно... Мы знаем, что любовь не есть вечное чувство. Но должно ли нас это пугать? Пойдем же смело навстречу, не заглядывая вперед и не оглядываясь назад, или лучше будем смотреть вперед, встретим лицом к лицу кроткую братскую дружбу, протягивающую к нам руки, и благословим Бога за то что он посылает ее нам... Я в гораздо большей мере – ты, чем – я сам.

...Есть такие муки и такие желания, которые нельзя выразить словами; всякое слово кажется мне мертвым, все, что я мог бы сказать, кажется мне слишком слабым. Друг мой, на душе у меня тяжело, я приехал с бала-маскарада, где был не по своей охоте, а только из приличия – ради великого князя, которого видел нынче утром. Отправился я к половине двенадца-

¹² Письма А. К. Толстого Софье Андреевне Миллер переведены с французского языка.

того. Чтобы вернуться, как только повидая великого князя. А он только что пригласил меня отужинать у него в половине второго; я второпях заехал домой, чтобы побеседовать с тобою в этом промежутке.

Как мне было там грустно! Не ездил никогда на эти противные балы-маскарады!

Мне так бы хотелось освежить твое бедное сердце, так бы хотелось дать отдохнуть тебе от всей твоей жизни! Бедное дитя, с тех пор, как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы ¹³. Даже и в самые лучшие минуты, те, когда мы находились вместе, тебя волновали какая-нибудь неотвязная забота, какое-нибудь предчувствие, какое-нибудь опасение.

Когда я об этом думаю, мне видится домик, полускрытый деревьями. Видится деревня, слышатся звуки твоего рояля и этот голос, от которого я сразу же встрепенулся. И все, что противостоит этой жизни, спокойной и благодатной, *вся сутолока света, честолюбие, тщеславие* и т. д., все искусственные средства, нужные для того, чтобы поддерживать в ущерб совести это неестественное существование, все это возникает передо мной вдалеке, как бы в недобром тумане. И я словно слышу твой голос, проникающий мне прямо в душу: «Я навсегда отказываюсь от этого ради любви к тебе». И тогда мной овладевает чувство безраздельного счастья, и слова, сказанные тобой, звучат и отдаются в моей душе, как уверение, что отныне ничто не может причинить тебе зла, и я понимаю тогда, что все это счастье, созданное мечтой, этот домик, эта благодатная и спокойная жизнь, все это – в нас самих. *Это твое сердце поет от счастья, а мое его слушает*, а так как все это – в нас самих, то его у нас и нельзя отнять, и даже среди мирской суеты мы можем быть одни и быть счастливыми. Характер у меня – с надрывом, он чувствителен к малейшему прикосновению, но мелочности в нем нет – даю тебе слово...

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер

* * *

6 января 1853 г.

...Подумай, что до 36 лет мне было некому поверять мои огорчения. Некому излить мою душу. Все то, что печалило меня, – а бывало это часто, хотя и незаметно для посторонних взглядов, – все то, чему я хотел бы найти отклик в уме, в сердце друга, я подавлял в самом себе, а пока мой дядя ¹⁴ был жив, то доверие, которое я питал к нему, сковывалось опасением его огорчить, порой – раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений, составлявших существо моей умственной и душевной жизни. Помню, как я скрывал от него чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои *пуританские* принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободолюбия и протестантского духа, с которыми бы он никогда не примирился и от которых я не хотел и не мог отказаться. От этого происходила постоянная неловкость, несмотря на то огромное доверие, которое у меня было к нему.

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер

* * *

...Еще он (И. С. Тургенев) рассказывал, как на маскараде, вместе с поэтом А. К. Толстым, он встретил грациозную и интересную маску, которая с ними умно разговаривала. Они

¹³ Речь идет о тяжелых переживаниях Софьи Андреевны до ее встречи с Толстым: романе с кн. Вяземским, из-за которого ее брат был убит на дуэли с князем, затем неудачном браке с конногвардейским полковником Л. Ф. Миллером.

¹⁴ А. А. Перовский (1787 – 1836), брат матери А. К. Толстого, прозаик (псевдоним – Антоний Погорельский). Автор сказки «Черная курица», посвященной мальчику Алеше Толстому.

настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе.

– Что же я тогда увидел? – говорил Тургенев. – Лицо чухонского солдата в юбке.

Эта маска потом вышла замуж за А. К. Толстого. Его стихотворение «Средь шумного бала» навеяно этим первым знакомством с его будущей женой. Думаю, что Тургенев преувеличил ее некрасивость. Я встречал впоследствии графиню Софью Андреевну, вдову А. К. Толстого, она вовсе не была безобразна и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной.

*С. Л. Толстой*¹⁵

* * *

...Толстой и Софа (именем «Софа» называли супругу А. К. Толстого Софью Андреевну) были для меня недостижимым идеалом доброты, от них исходило все для меня, они мне давали ответы на все мои сомнения и стремления; я сознавала, что не только люблю, но и боюсь их, и вместе с тем я вложила в них все мое доверие, все мое сердце, все мои идеалы, помимо них ничего не могло существовать для меня. Иногда характер Толстого, нервный и вспыльчивый, пугал меня, но уверенность в его дружбе и любви ко мне была непоколебима. Софу я всегда жалела, она всегда несла ношу слишком тяжелую... Но стоило Софе словом отмахнуть от него наплыв ежедневных дрязг и осветить своим всепонимающим умом его растревоженную душу, и он возвращался с молодыми, чистыми силами. Страдание, зло, боли, печали не имели власти над бодростью и чистотой его духа...

*С. П. Хитрово*¹⁶

* * *

...По всем рассказам видно, что с ранних лет Софа была не по годам умна и развита и всегда выделялась от других умом и обаятельностью. – Когда ей было пять лет, бабушка возила всех своих детей в Саровскую пустынь на благословение к отцу Серафиму, и когда он их всех перекрестил и благословил, то перед младенцем Софией он опустился на колени и поцеловал ей ножки, предсказывая ей удивительную будущность. – Мы, дети, видели и понимали, что все в доме обожают Софу и что она всегда, везде и для всех первый человек, и мы слепо верили, что лучше ее на свете нет, и так, всю жизнь, она стояла для нас лучезарнее и выше всех. Наша любовь к ней была совсем особенная, и что бы она ни сказала, все было хорошо и непоколебимо. – Мой отец, как и другие, относился к ней с некоторым благоговением, почти что восторженно, а во имя своих чувств к ней назвал меня и сестру Софиями и говорил, что если у него будет двенадцать дочерей, все будут Софиями.

С. П. Хитрово

* * *

...Граф Толстой был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки; никто из нас, разумеется, не мог этого сделать.

¹⁵ С. Л. Толстой – сын Л. Н. Толстого.

¹⁶ С. П. Хитрово – племянница С. А. Толстой.

Глаза у графа лазурного цвета, юношески свежее лицо, продолговатый овал лица, легкий пушок бороды и усов, выющиеся на висках белокурые волосы – благородство и артистизм.

По ширине плеч и по мускулатуре нельзя было не заметить, что модель не принадлежала к числу изнеженных и слабых молодых людей. Действительно, Алексей Толстой был необыкновенной силы: он гнул подковы, и у меня между прочим долго сохранялась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил винтом своими пальцами.

А. В. Мещерский ¹⁷

* * *

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;

И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

1851

* * *

...Граф Толстой был в то время (1843 г.) красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю щеку. Он еще более, чем князь Барятинский, похо-

¹⁷ А. В. Мещерский (1822 – 1900) – мемуарист, поэт, общественный деятель. Друг А. К. Толстого.

дил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность проникали всю его фигуру. Можно представить мое изумление, когда князь однажды сказал мне: «Вы знаете – это величайший силач!» При этом известии я не мог не улыбнуться самым недоверчивым, чтобы не сказать презрительным образом; сам, принадлежа к породе сильных людей, выдавший на своем веку много действительных силачей, я тотчас подумал, что граф Толстой, этот румяный и нежный юноша, – силач аристократический и дивит свой кружок какими-нибудь гимнастическими штуками. Заметив мое недоверие, князь стал рассказывать многие действительные опыты силы Толстого: как он свертывал в трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы. Я не знал, что и думать. Впоследствии отзывы многих других лиц положительно подтвердили, что эта нежная оболочка скрывает действительного Геркулеса. В то же время князь говорил мне, что Толстой домашний человек у наследника и входит к нему без доклада.

В. А. Инсарский ¹⁸

* * *

...Любопытен рассказ его (Д. В. Григоровича) о графине Толстой, жене графа Алексея Константиновича Толстого (поэта). Она – урожденная Бахметьева. С Григоровичем соседи. Прожились. Мать ее старалась не только сбыть ее, но продать. Не выходило. Познакомилась с князем Вяземским, он сделал ей ребенка. Брат ее вызвал князя на дуэль. Но дуэль благодаря Вяземскому не состоялась: он устроил при помощи связей так, что Бахметьева сослали на Кавказ. Возвратившись оттуда, он написал князю Вяземскому письмо: если он не приедет с ним драться, то он публично оскорбит его. Князь Вяземский приехал и убил его на дуэли, за что сидел в крепости. Сестра его вышла замуж за Миллера, который был влюблен в нее страстно, но она его терпеть не могла и скоро бросила. Она путешествовала с Григоровичем и сошлась с ним. Когда Григорович возвратился к Бахметьевым, то застал г-жу Миллер лежащую, слабою. У ног ее сидел граф Алексей Константинович Толстой, страстно в нее влюбленный. Он приехал с Ал. Ал. Татищевым. «Я не хотел мешать, – говорит Дмитрий Васильевич, – и мы расстались».

А. Суворин. «Дневник» ¹⁹

* * *

С ружьем за плечами, один, при луне,
Я по полю еду на добром коне.
Я бросил поводья, я мыслю о ней,
Ступай же, мой конь, по траве веселей!

Я мыслю так тихо, так сладко, но вот
Неведомый спутник ко мне пристает,
Одет он, как я, на таком же коне,
Ружье за плечами блестит при луне.

«Ты, спутник, скажи мне, скажи мне, кто ты?

¹⁸ В. А. Инсарский (1814 – 1882) – мемуарист.

¹⁹ А. С. Суворин (1834 – 1912) – издатель, мемуарист.

Твои мне как будто знакомы черты.
Скажи, что тебя в этот час привело?
Чему ты смеешься так горько и зло?»

«Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим,
Смеюсь, что ты будущность губишь;
Ты мыслишь, что вправду ты ею любим?
Что вправду ты сам ее любишь?

Смешно мне, смешно, что так пылко любя,
Ее ты не любишь, а любишь себя.
Опомнись, порывы твои уж не те!
Она для тебя уж не тайна,

Случайно сошлись вы в мирской суете,
Вы с ней разойдетесь случайно.
Смеюсь я горько, смеюсь я зло
Тому, что вздыхаешь ты так тяжело».

Все тихо, объято молчаньем и сном,
Исчез мой товарищ в тумане ночном,
В тяжелом раздумье, один, при луне,
Я по полю еду на добром коне...

1851

* * *

Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!
Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал;
Мысленно вместе с тобой протрадал я минувшие годы,
Все переживал вместе с тобой, и печаль и надежды,
Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я;
Но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий;
Дороги мне твои слезы и дорого каждое слово!
Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры;
Рано познала ты горе, обман и людское злословье,
Рано под тяжестью бед твои преломились силы!
Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой!
Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу:
Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!

21 октября 1851

* * *

Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?

Ты не спрашивай, не распытывай:
Что сестра ль ты мне, молода ль жена
Или детище ты мне малое?
И не знаю я и не ведаю,

Как назвать тебя, как прикликати.
Много цветиков во чистом поле,
Много звезд горит по поднебесью,
А назвать-то их нет умения,

Распознать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал,
Не разгадывал, не распытывал;
Очертил свою буйну голову!

30 октября 1851

* * *

Мне в душу, полную ничтожной суеты,
Как бурный вихорь, страсть ворвалася неожиданно,
С налета смяла в ней нарядные цветы
И разметала сад, тщеславием убранный.

Условий мелкий сор крутящимся столбом
Из мысли унесла живительная сила
И током теплых слез, как благостным дождем,
Опустошенную мне душу оросила.

И над обломками безмолвен я стою,
И, трепетом еще неведомым объятый,
Воскреснувшего дня пью свежую струю
И грома дальнего внимаю перекаты...

1851 или 1852

* * *

Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной;
Моей души коснулась ты —
Она тревожна, как листы,
Она, как гусли, многострунна.
Житейский вихрь ее терзал
И сокрушительным набегом,
Свистя и воя, струны рвал
И заносил холодным снегом.
Твоя же речь ласкает слух,
Твое легко прикосновение,
Как от цветов летящий пух,
Как майской ночи дуновение...

1851 или 1852

* * *

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

1854

И зовут друг друга журавли

КОЛОДНИКИ

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, —
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.

Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело,
Угрюмые сдвинули брови,
На сердце раздумье легло.

Идут с ними длинные тени,
Две клячи телегу везут,
Лениво сгибая колени,
Конвойные с ними идут.

«Что, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду!
Уж, видно, такая невзгода
Написана нам на роду!»

И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни,

Поют про свободные степи,
Про дикую волю поют,
День меркнет все боле, — а цепи
Дорогу метут да метут...

Первая половина 1850-х годов

СТРЕЛКОВЫЕ ПЕСНИ

1

Слава на небе солнцу высокому!
Слава!
На земле государю великому,
Слава!
Слава на небе светлым звездам,
Слава!
На земле государевым стрелкам,
Слава!
Чтобы рука их была всегда тверда,
Слава!
Око быстрее, светлей соколиного,
Слава!
Чтобы привел Бог за матушку-Русь постоять,
Слава!
Наших врагов за рубеж провожать,
Слава!
Чтобы нам дума была лишь о родине,
Слава!
Ину ж печаль мы закинем за синюю даль,
Слава!
Чтобы не было, опричь Руси, царства сильней,
Слава!
Нашего ласкова государя добрей,
Слава!
Чтобы не было русского слова крепчей,
Слава!
Чтобы не было русской славы громчей,
Слава!
Чтобы не было русской песни звучней,
Слава!
Да чтоб не было царских стрелков удалей,
Слава!

Май или июнь 1855

2

Уж как молодцы пируют
Вкруг дубового стола;
Их кафтаны нараспашку,

Их беседа весела.
По столу-то ходят чарки,
Золоченые звенят;
Что же чарки говорят?
Вот что чарки говорят:
Нет! нет!
Не бывать,
Не бывать тому,
Чтобы мог француз
Нашу Русь завоевать!
Нет!

1855

* * *

Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице!
Ты скажи, скажи, ты поведай мне:
На добычу-то как выходишь ты?
Как сживаешь люд божий со свету?
Ты змеей ли ползешь подколодную?
Ты ли бьешь с неба бурым коршуном?
Серым волком ли рыщешь по полю?
Аль ты, горе, богатырь могуч,
Выезжаешь со многой силою,
Выезжаешь со гридни и с отроки?
Уж вскочу в седло, захвачу тугой лук,
Уж доеду тебя, горе горячее,
Подстрелю тебя, тоску лютую!
«Полно, полно, добрый молодец,
Бранью на ветер кидатися,
Неразумны слова выговаривать!
Я не волком бегу, не змеей ползу,
Я не коршуном бью из поднебесья,
Не с дружиною выезжаю я!
Выступаю-то я красной девицей,
Подхожу-то я молодежию,
Подношу чару, в пояс кланяюсь;
И ты сам слезешь с коня долой,
Красной девице отдашь поклон,
Выпьешь чару, отуманишься,
Отуманишься, сердцем всплачешься,
Ноги скорые-то подкосятся,
И тугой лук из рук выпадет!..»

1856

* * *

Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.

Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет;

Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?

Грустно жить тебе, о друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль...

1856

* * *

Уж ты нива моя, нивушка,
Не скосить тебя с маху единого,
Не связать тебя всю во единый сноп!
Уж вы думы мои, думушки,
Не стряхнуть вас разом с плеч долой,
Одной речью-то вас не высказать!
По тебе ль, нива, ветер разгуливал,
Гнул колосья твои до земли,
Зрелы зерна все разметывал!
Широко вы, думы, порассыпались...
Куда пала какая думушка,
Там всходила люта печаль-трава,
Вырастало горе горячее!

1856

* * *

...Круг наш сходится чаще, чем когда-либо, т. е. почти что всякий день. Центральные персоны – Боткин, Толстой, Анненков, сверх того Ермил, Гончаров, Жемчужников, Толстой Алексей. Он действительно флигель-адъютант, – но красен и прекрасен как прежде, очень стыдлив, и, сочинивши стихотворение в 8 строк, непременно сам держит корректуру.

А. В. Дружинин ²⁰

* * *

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!

1856

* * *

Грядой клубится белою
Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
И горем обуян.

Не до веку белеется
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!

1856

* * *

Колышется море; волна за волной
Бегут и шумят торопливо...

²⁰ А. В. Дружинин (1824 – 1864) – прозаик, критик, мемуарист.

О друг ты мой бедный, боюсь, со мной
Не быть тебе долго счастливой:
Во мне и надежд и отчаяний рой,
Кочующей мысли прибой и отбой,
Приливы любви и отливы!

1856

* * *

О, не пытайся дух унять тревожный,
Твою тоску я знаю с давних пор,
Твоей душе покорность невозможна,
Она болит и рвется на простор.

Но все ее невидимые муки,
Нестройный гул сомнений и забот,
Все меж собой враждующие звуки
Последний час в созвучие сольет,

В один порыв смешает в сердце гордом
Все чувства, врозь которые звучат,
И разрешит торжественным аккордом
Их голосов мучительный разлад.

1856

Душистые ветки акации белой

* * *

6 октября 1856 г., Петербург.

...Знаешь, – хотя это приятно и хорошо, но мне часто мешает легкость, с которой мне дается стихотворство; когда я что-нибудь пишу, у меня всегда складываются 3–4 редакции той же мысли, той же картины, и мне нужно было бы *свежее ухо*, чтобы выбрать одну из редакций той же самой вещи, – и чем больше мне нравится мысль или картина, тем более я ее меняю и исправляю, так что иногда *теряю чутье суждения*.

Сегодня с утра я уже переменял и изменял «Ветку акации» так много, что я уже не знаю, что надо оставить и что надо выбросить из разных вариаций, которые я написал; когда лист бумаги исписан и весь перечеркнут, я переписываю заново, начисто, и через несколько времени новый лист так же перемаран и перечеркнут, как первый...

...У меня есть еще несколько вещей, относящихся к Крыму, которые я начал во время нашего путешествия. Одни хорошие, другие слабые, но они все добавляют цельность картины, и оттого я не решаюсь их уничтожить...

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер

КРЫМСКИЕ ОЧЕРКИ

1

Над неприступной крутизною
Повис туманный небосклон;
Там гор зубчатою стеною
От юга север отделен.

Там ночь и снег; там, враг веселья,
Седой зимы сердитый бог
Играет выюгой и метелью,
Ярясь, уста примкнул к ущелью

И воев в их гранитный рог.
Но здесь благоухают розы,
Бессильно вихрем снеговым
Сюда он шлет свои угрозы,
Цветущий берег невредим.

Над ним весна младая веет,
И лавр, Дианою храним,

В лучах полудня зеленеет
Над морем вечно голубым.

2

Клонит к лени полдень жгучий.
Замер в листьях каждый звук,
В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук;

А из камней вытекая,
Однозвучен и гремуч,
Говорит, не умолкая,
И поет нагорный ключ.

3

Всесильной волею Аллаха,
Дающего нам зной и снег,
Мы возвратились с Чатырдаха
Благополучно на ночлег.

Все налицо, все без увечья:
Что значит ловкость человежья!
А признаюсь, когда мы там
Ползли, как мухи, по скалам,

То мне немного было жутко:
Сорваться вниз плохая шутка!
Гуссейн, послушай, помоги
Стащить мне эти сапоги,

Они потрескались от жара;
Да что ж не видно самовара?
Сходи за ним; а ты, Али,
Костер скорее запали.

Постелим скатерти у моря,
Достанем ром, заварим чай,
И все возляжем на просторе

Смотреть, как пламя, с ночью споря,
Померкнет, вспыхнет невзначай

И озарит до половины
Дубов зеленые вершины,
Песчаный берег, водопад,
Крутых утесов грозный ряд,

От пены белый и ревущий
Из мрака выбежавший вал
И перепутанного плюща
Концы, висящие со скал.

4

Ты помнишь ли вечер, как море шумело,
В шиповнике пел соловей,
Душистые ветки акации белой
Качались на шляпе твоей?

Меж камней, обросших густым виноградом,
Дорога была так узка;
В молчанье над морем мы ехали рядом,
С рукою сходилась рука.

Ты так на седле нагибалась красиво,
Ты алый шиповник рвала,
Буланой лошадки косматую гриву
С любовью ты им убрала;

Одежды твоей непослушные складки
Цеплялись за ветви, а ты
Беспечно смеялась – цветы на лошадке,
В руках и на шляпе цветы!

Ты помнишь ли рев дождевого потока
И пену и брызги кругом;
И как наше горе казалось далёко,
И как мы забыли о нем!

5

Вы всё любуетесь на скалы,
Одна природа вас манит,
И возмущает вас немало
Мой деревенский аппетит.

Но взгляд мой здесь иного рода,
Во мне лицепрятя нет;
Ужели вишни не природа
И тот, кто ест их, не поэт?

Нет, нет, названия вандала
От вас никак я не приму:
И Ифигения едала,
Когда она была в Крыму!

6

Туман встает на дне стремнин,
Среди полуночной прохлады
Сильнее пахнет дикий тмин,
Гремят слышнее водопады.

Как ослепительна луна!
Как гор очерчены вершины!
В серебристом сумраке видна
Внизу Байдарская долина.

Над нами светят небеса,
Чернеет бездна перед нами,
Дрожит блестящая роса
На листьях крупными слезами...

Душе легко. Не слышу я
Оков земного бытия,
Нет места страху, ни надежде, —
Что будет впредь, что было прежде

Мне все равно – и что меня
Всегда как цепь к земле тянуло,
Исчезло все с тревогой дня,
Все в лунном блеске потонуло...

Куда же мысль унесена?
Что ей так видится дремливо?
Не средь волшебного ли сна
Мы едем вместе вдоль обрыва?

Ты ль это, робости полна,
Ко мне склонилась молчаливо?
Ужель я вижу не во сне,
Как звезды блещут в вышине,

Как конь ступает осторожно,
Как дышит грудь твоя тревожно?

Иль при обманчивой луне
Меня лишь дразнит призрак ложный
И это сон? О, если б мне
Проснуться было невозможно!

7

Как чудесно хороши вы,
Южной ночи красоты:
Моря синего заливы,
Лавры, скалы и цветы!

Но мешают мне немножко
Жизнью жить средь этих стран:
Скорпион, сороконожка
И фигуры англичан.

8

Обычной полная печали,
Тыходишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали

Недавно пламенным дождем;

Но юный плющ, вясь вкруг зданья,
Покрыв следы вражды и зла —
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?

9

Приветствую тебя, опустошенный дом,
Завядшие дубы, лежащие кругом,
И море синее, и вас, крутые скалы,
И пышный прежде сад – глухой и одичалый!

Усталым путникам в палящий летний день
Еще даешь ты, дом, свежительную тень,
Еще стоят твои поруганные стены,
Но сколько горестной я вижу перемены!

Едва лишь я вступил под твой знакомый кров,
Бросаются в глаза мне надписи врагов,
Рисунки грубые и шутки площадные,
Где с наглым торжеством поносятся Россия;

Всё те же громкие, хвастливые слова
Нечестное врагов оправдывают дело.
Вздыхнув, иду вперед; мохнатая сова
Бесшумно с зеркала разбитого слетела;

Вот в угол бросилась испуганная мышь...
Везде обломки, прах; куда ни поглядишь,
Везде насилие, насмешки и угрозы;
А из саду в окно вползающие розы,

За мраморный карниз цепляясь там и тут,
Беспечно в красоте раскидистой цветут,
Как будто на дела враждебного народа
Набросить свой покров старается природа,

Вот ящерица здесь меж зелени и плит,

Блестя как изумруд, извиристо скользит,
И любо ей играть в молчании могильном,
Где на пол солнца луч столбом ударил пыльным...

Но вот уж сумерки; вот постепенно мгла
На берег, на залив, на скалы налегла;
Все больше в небе звезд, в аллеях все темнее,
Душистее цветы, и запах трав сильнее;

На сломанном крыльце сижу я, полон дум;
Как тихо все кругом, как слышен моря шум...

10

Тяжел наш путь, твой бедный мул
Устал топтать терновник злобный;
Взгляни наверх: то не аул,
Гнезду орлиному подобный;

То целый город; смолкнул гул
Народных празднеств и торговли,
И ветер тления подул
На Богом проклятые кровли.

Во дни глубокой старины
(Гласят народные скрижали),
Во дни неволи и печали,
Сюда Израиля сыны

От ига чуждого бежали,
И град возник на высях гор.
Забыв отцов своих позор
И горький плен Ерусалима,

Здесь мирно жили караимы;
Но ждал их давний приговор,
И пала тяжесть божья гнева
На ветвь караемого древа.

И город вымер. Здесь и там

Остатки башен по стенам,
Кривые улицы, кладбища,
Пещеры, рытые в скалах,

Давно безлюдные жилища,
Обломки, камни, пыль и прах,
Где взор отрады не находит;

Две-три семьи как тени бродят
Средь голых стен; но дороги
Для них родные очаги,
И храм отцов, от моха черный,
Над коим плавные круги,
Паря, чертит орел нагорный...

11

Где светлый ключ, спускаясь вниз,
По серым камням точит слезы,
Ползут на черный кипарис
Гроздами пурпурные розы.

Сюда когда-то, в жгучий зной,
Под темнолиственные лавры,
Бежали львы на водопой
И буро-пегие кентавры;

С козлом бодался здесь сатир;
Вакханки с криками и смехом
Свершали виноградный пир,
И хор тимпанов, флейт и лир

Сливался шумно с дальним эхом.
На той скале Дианы храм
Хранила девственная жрица,
А здесь над морем по ночам
Плыла богини колесница...

Но уж не та теперь пора;
Где был заветный лес Дианы,
Там слышны звуки топора,

Грохочут вражьи барабаны;

И все прошло; нигде следа
Не видно Греции счастливой,
Без тайны лес, без плясок нивы,
Без песней пестрые стада
Пасет татарин молчаливый...

12

Солнце жжет; перед грозой
Изменился моря вид:
Засверкал меж бирюзою
Изумруд и малахит.

Здесь на камне буду ждать я,
Как, вздымая корабли,
Море бросится в объятья
Изнывающей земли,

И, покрытый пеной белой,
Утомясь, влюбленный бог
Снова ляжет, онемелый,
У твоих, Таврида, ног.

13

Смотри, все ближе с двух сторон
Нас обнимает лес дремучий;
Глубоким мраком полон он,
Как будто набежали тучи,

Иль меж деревьев вековых
Нас ночь безвременно застигла,
Лишь солнце сыплет через них
Местами огненные иглы.

Зубчатый клен, и гладкий бук,
И твердый граб, и дуб корнистый
Вторят подков железный звук

Средь гама птичьего и свиста;

И ходит трепетная смесь
Полутеней в прохладе мгlistой,
И чует грудь, как воздух весь
Пропитан сыростью душистой.

Вон там украдкой слабый луч
Скользит по липе, мхом одетой,
И дятла стук, и близко где-то
Журчит в траве незримый ключ...

14

Привал. Дымяся, огонек
Трещит под таганом дорожным,
Пасутся кони, и далек
Весь мир с его волненьем ложным.

Здесь долго б я с тобою мог
Мечтать о счастье возможном!
Но, очи грустно опустив
И наклонясь над крутизною,

Ты молча смотришь на залив,
Окружена зеленой мглою...
Скажи, о чем твоя печаль?
Не той ли думой ты томима,

Что счастье, как морская даль,
Бежит от нас неуловимо?
Нет, не догнать его уж нам,
Но в жизни есть еще отрады;

Не для тебя ли по скалам
Бегут и брызжут водопады?
Не для тебя ль в ночной тени
Вчера цветы благоухали?

Из синих волн не для тебя ли

Восходят солнечные дни?
А этот вечер? О, взгляни,
Какое мирное сиянье!

Не слышно в листьях трепетанья,
Недвижно море; корабли,
Как точки белые вдали,
Едва скользят, в пространстве тая;

Какая тишина святая Царит кругом!
Нисходит к нам
Как бы предчувствие чего-то;

В ущельях ночь; в тумане там
Дымится сизое болото,
И все обрывы по краям
Горят вечерней позолотой...

Лето 1856–1858

* * *

Как здесь хорошо и приятно,
Как запах дерев я люблю!
Орешника лист ароматный
Тебе я в тени настелю.

Я там, у подножья аула,
Тебе шелковицы нарву,
А лошадь и бурого мула
Мы пустим в густую траву.

Ты здесь у фонтана приляжешь,
Пока не минуется зной,
Ты мне улыбнешься и скажешь,
Что ты не устала со мной.

Лето 1856

* * *

Растянулся на просторе

И на сонных берегах,
Окунувши морду в море,
Косо смотрит Аюдаг ²¹.

Обогнуть его мне надо,
Но холмов волнистый рой,
Как разбросанное стадо,
Все толпится предо мной.

Добрый конь мой, долго шел ты,
Терпеливо ношу нес;
Видишь там лилово-желтый,
Солнцем тронутый утес?

Добрый конь мой, ободрися,
Ускори ленивый бег,
Там под сенью кипариса
Ждет нас ужин и ночлег!

Вот уж час, как в ожиданье
Конь удваивает шаг,
Но на прежнем расстоянье Косо смотрит Аюдаг.

Тучи море затянули,
Звезды блещут в небесах,
Но не знаю, обогну ли
Я до утра Аюдаг?

Лето 1856

* * *

Войдем сюда; здесь меж руин
Живет знакомый мне раввин;
Во дни прошедшие, бывало,
Видал я часто старика;

Для поздних лет он бодр немало,
И перелистывать рука
Старинных хартий не устала.

²¹ Аюдаг – Медведь-гора.

Когда вдали ревут валы

И дикий кот, мяуча, бродит,
Талмуда враг и Каббалы,
Всю ночь в молитве он проводит;
Душистей нет его вина,

Его улыбка добродушна,
И, слышал я, его жена
Тиха, прекрасна и послушна;
Но недоверчив и ревнив
Седой раввин...

Он примет странников радушно,
Но не покажет им супруг
Своей чудесной половины
Ни за янтарь, ни за жемчуг,
Ни за звенящие цехины!

Лето 1856

* * *

Если б я был богом океана,
Я б к ногам твоим принес, о друг,
Все богатства царственного сана,
Все мои кораллы и жемчуг!

Из морского сделал бы тюльпана
Я ладью тебе, моя краса;
Мачты были б розами убраны,
Из чудесной ткани паруса!

Если б я был богом океана,
Я б любил тебя, моя душа;
Я б любил без бури, без обмана,
Я б носил тебя, едва дыша!

Но беда тому, кто захотел бы
Разлучить меня с тобою, друг!
Всклокотал бы я и закипел бы!
Все валы свои погнал бы вдруг!

В реве бури, в свисте урагана
Враг узнал бы бога океана!
Всюду, всюду б я его сыскал!
Со степей сорвал бы я курганы!

Доплеснул волной до синих скал,
Чтоб добыть тебя, моя циана,
Если б я был богом океана!

Лето 1856

* * *

Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд,
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;

Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так; не знаю, право,
Наяву я иль во сне?

Вот уж лошади готовы —
Сел в кибитку и скачу, —
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу,

Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,

За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит...

Лето 1856

* * *

Не верь мне, друг, когда, в избытке горя,
Я говорю, что разлюбил тебя,
В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.

Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Мою свободу вновь тебе отдам,
И уж бегут с обратным шумом волны
Издалека к любимым берегам!

Лето 1856

* * *

Острою секирой ранена береза,
По коре серебристой покатались слезы;

Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!
Рана не смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана...

Лишь больное сердце не залечит раны!

Лето 1856

* * *

Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой
Вечерний алый свет сливается все боле;
Блеющие стада вернулись домой,
И улеглася пыль на опустелом поле.

Да снидет ангел сна, прекрасен и крылат,
И да перенесет тебя он в жизнь иную!

Издавна был он мне в печали друг и брат,
Усни, мое дитя, к нему я не ревную!

На раны сердца он забвение прольет,
Пытливую тоску от разума отымет
И с горестной души на ней лежащий гнет
До нового утра незримо приподымет.

Томимая весь день душевною борьбой,
От взоров и речей враждебных ты устала,
Усни, мое дитя, меж ними и тобой
Он благостной рукой опустит покрывало!

Август 1856

* * *

Да, братцы, это так, я не под пару вам,
То я весь в солнце, то в тумане,
Веселость у меня с печалью пополам,
Как золото на черной ткани.

Вам весело, друзья, пируйте ж в добрый час,
Не враг я песням и потехам,
Но дайте погрустить, и, может быть, я вас.
Еще опережу неудержимым смехом!

Август 1856

* * *

Когда кругом безмолвен лес дремучий
И вечер тих;
Когда невольно просится певучий
Из сердца стих;
Когда упрек мне шепчет шелест нивы
Иль шум деревьев;
Когда кипит во мне нетерпеливо
Правдивый гнев;
Когда вся жизнь моя покрыта тьмою
Тяжелых туч;
Когда вдали мелькнет передо мною
Надежды луч;
Средь суеты мирского развлечения,

Среди забот,
Моя душа в надежде и в сомненье
Тебя зовет;
И трудно мне умом понять разлуку,
Ты так близка,
И хочет сжать твою родную руку
Моя рука!

Август или сентябрь 1856

* * *

Сердце, сильней разгораясь от году до году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду.
В ней, как железо в раскале, оно закипело:
Сделала, жизнь, ты со мною недоброе дело!

Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодной сталью!

Август или сентябрь 1856

* * *

В стране лучей, незримой нашим взорам,
Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ возносят стройным хором
Своих молитв немолчные дары;

Блаженством там сияющие лики
Отвращены от мира суеты,
Не слышны им земной печали клики,
Не видны им земные нищеты;

Все, что они желали и любили,
Все, что к земле привязывало их,
Все на земле осталось горстью пыли,
А в небе нет ни близких, ни родных.

Но ты, о друг, лишь только звуки рая
Как дальний зов в твою проникнут грудь,
Ты обо мне подумай, умирая,
И хоть на миг блаженство позабуди!

Прощальный взор бросая нашей жизни,
Душою, друг, взглядишь в мои черты,
Чтобы узнать в заоблачной отчизне
Кого звала, кого любила ты,

Чтобы не мог моей молящей речи
Небесный хор навеки заглушить,
Чтобы тебе, до нашей новой встречи,
В стране лучей и помнить и грустить!

Август или сентябрь 1856

* * *

Лишь только один я останусь с собою,
Меня голоса призывают толпою.
Которому ж голосу отповедь дам?
В сомнении рвется душа пополам.

Советов, угроз, обещаний так много,
Но где же прямая, святая дорога?
С мучительной думой стою на пути —
Не знаю, направо ль, налево ль идти?

Махни уж рукой да иди, не робей,
На голос, который всех манит сильнее,
Который немолчно, вблизи, вдалеке,
С тобой говорит на родном языке!

Август или сентябрь 1856

* * *

«...» Алексей Толстой верил в предсуществование искусства. Мир предстоял ему как художественное произведение, которое чуткие поэты и музыканты выявляют, подобно тому как «над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают». Мир талантлив. Он звучит музыкой, переливается красками, в нем реют слова, и это он нашептывает темы для земных творцов. Когда Бетховен слагал свой марш похоронный, он не из себя брал «этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушение светлых миров в безнадежную бездну хаоса», -

Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания.

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света.

Если так, то в искусстве – истина, и красота не украшение, а сама сущность бытия, его имманентная природа; если так, икона, образ – это благодатная необходимость, которой всякий раз и поклоняется «наш мир удивленный». Толстой больше всего привлекателен той способностью удивления перед мировой и человеческой иконой, в особенности если она – старинная, издавна чтимая, если она напоминает изысканные, выцветшие тона гобелена, как прекрасные терцины его «Дракона».

*Ю. А. Айхенвальд*²²

* * *

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса!

Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву,
Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей
громоносных?

Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который,
В древнегерманской одежде, но в правде глубокой,
вселенской,
С образом сходен предвечным своим от слова до слова.
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?

Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания.

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный.

О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,

²² Ю. А. Айхенвальд (1872 – 1928) – критик.

Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака всё ярче цвета, осязательней формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье...

Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье,
И, созидая потом, мимолетное помни виденье!

Октябрь 1856

* * *

Что ты голову склонила?
Ты полна ли тихой ленью?
Иль грустишь о том, что было?
Иль под виноградной сенью

Начертания сквозные
Разгадать хотела б ты,
Что на землю вырезные
Сверху бросили листы?

Но дрожащего узора
Нам значенье непонятно —
Что придет, узнаешь скоро,
Что прошло, то невозвратно!

Час полуденный палящий,
Полный жизни огневой,
Час веселый настоящий,
Этот час один лишь твой!

Не клони ж печально взора
На рисунок непонятный —
Что придет, узнаешь скоро,
Что прошло, то невозвратно!

Ноябрь 1856

Б. М. МАРКЕВИЧУ

Ты прав; мой своенравный гений
Слетал лишь изредка ко мне;
Таясь в душевной глубине,
Дремала буря песнопений;

Меня ласкали сон и лень,
Но, цепь житейскую почуя,
Воспрянул я; и, негодую,
Стихи текут. Так в бурный день,

Прорезав тучи, луч заката
Сугубит блеск своих огней,
И так река, скалами сжата,
Бежит сердитей и звучней!

Осень 1856

* * *

И у меня был край родной когда-то;
Со всех сторон
Синела степь; на ней белели хаты —
Все это сон!
Я помню дом и пестрые узоры
Вокруг окон,
Под тенью лип душистых разговоры —
Все это сон!
Я там мечтою чистой, безмятежной
Был озарен,
Я был любим так искренно, так нежно —
Все это сон!
И думал я: на смерть за край родимый
Я обречен!
Но гром умолк; гроза промчалась мимо —
Все было сон!
Летучий ветер, неси ж родному краю,
Неси поклон;
В чужбине век я праздно доживаю —
Все было сон!

1856

* * *

Господь, меня готова к бою,

Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою
Он указал правдивый путь;

Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но непреклонным и суровым
Меня Господь не сотворил.

И гнев я свой истратил даром,
Любовь не выдержал свою,
Удар напрасно за ударом
Я отбивая устаю.

Навстречу их враждебной выюги
Я вышел в поле без кольчуги
И гибну, раненный в бою.

1857

* * *

Порой, среди забот и жизненного шума,
Внезапно набежит мучительная дума
И гонит образ твой из горестной души.

Но только лишь один останусь я в тиши
И суетного дня минует гул тревожный,
Смирятся во мне волненье жизни ложной,
Душа, как озеро, прозрачна и сквозна,
И взор я погрузить в нее могу до дна;

Спокойно мыслию, ничем не возмутимой,
Твой отражаю лик желанный и любимый
И ясно вижу глубь, где, как блестящий клад,
Любви моей к тебе сокровища лежат.

1857

* * *

Не Божиим громом горе ударило,

Не тяжелой скалой навалилося;
Собиралось оно малыми тучками,
Затянули тучки небо ясное,
Посеяло горе мелким дождичком,
Мелким дождичком осенним.

А и сеет оно давным-давно,
И сечет оно без умолку,
Без умолку, без устали,
Без конца сечет, без отдыха;

Проняло насквозь добра молодца,
Проняло дрожью холодною,
Лихорадкою, лихоманкою,
Сном-дремотою, зевотою.

– Уже полно, горе, дуб ломать по пруткам,
Щипати по листикам!
А и бывало же другим счастье:
Налетало горе вихрем-бурею,
Ворочало горе дубы с корнем вон!

1857

* * *

Ой, честь ли то молодцу лен прясти?
А и хвала ли боярину кичку носить?
Воеводе по воду ходить?
Гусяру-певуну во приказе сидеть?
Во приказе сидеть, потолок коптить?
Ой, коня б ему! гусли б звонкие!
Ой, в луга б ему, во зеленый бор!
Через реченьку да в темный сад,
Где соловушка на черемушке
Целу ноченьку напролет поет!

1857

* * *

Ты неведомое, незnamое,
Без виду, без образа,
Без имени-прозвища!

Полно гнуть меня ко сырой земле,
Донимать меня, добра молодца!

Как с утра-то встану здоровёшенек,
Здоровёшенек, кажись, гору сдвинул бы,
А к полудню уже руки опускаются,
Ноги словно ко земле приросли.

А подходит оно без оклика,
Меж хотенья и дела втирается,
Говорит: «Не спеши, добрый молодец,
Еще много впереди времени!»

И субботу называет пятницей,
Фомину неделю светлым праздником.
Я пушусь ли в путь-дороженьку,
Ан оно повело проселками,
На полпути корчмой выросло;

Я за дело примусь, ан оно мухою
Перед носом снует, извивается;
А потом тебе же насмехается:
«Ой, удал, силен, добрый молодец!

Еще много ли на боку полёжано?
Силы-удали понакоплено?
Отговорок-то понахожено?

А и много ли богатырских дел,
На печи сидючи, понадумано?
Вахлаками других поругано?
Себе спину почёсано?»

1857

* * *

Он водил по струнам; упали
Волоса на безумные очи,
Звуки скрипки так дивно звучали,
Разливаясь в безмолвии ночи.

В них рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливы
Соблазняли и мучили совесть;

Обвиняющий слышался голос,
И рыдали в ответ оправданья,
И бессильная воля боролась
С возрастающей бурей желанья,

И в туманных волнах рисовались
Берега позабытой отчизны,
Неземные слова раздавались
И манили назад с укоризной,

И так билось сердце тревожно,
Так ему становилось понятно
Все блаженство, что было возможно
И потеряно так невозвратно,

И к себе беспощадная бездна
Свою жертву, казалось, тянула,
А стезею лазурной и звездной
Уж полнеба луна обогнула;

Звуки пели, дрожали так звонко,
Замирали и пели сначала,
Беглым пламенем синяя жженка
Музыканта лицо освещала...

Начало 1857

* * *

Уж ласточки, кружась, над крышей щебетали,
Красуясь, идет нарядная весна:
Порою входит так в дом скорби и печали
В цветах красавица, надменна и пышна.

Как праздничный мне лик весны теперь несносен!
Как грустен без тебя дерев зеленых вид!

И мысляю я: когда ж на них повеет осень
И, сыпя желтый лист, нас вновь соединит!

Весна 1857

* * *

Деревцо мое миндальное
Все цветами убирается,
В сердце думушка печальная
Поневоле зарождается:

Деревцом цветы обронятся,
И созреет плод непрошенный,
И зеленое наклонится
До земли под горькой ношею!

1857 или 1858

* * *

Мой строгий друг, имей терпенье
И не брани меня так зло;
Не вдруг приходит вдохновение,
Земное бремя тяжело;

Простора нет орлиным взмахам;
Как Этны темное жерло,
Моя душа покрыта прахом.
Но в глубине уж смутный шум,
И кратер делается тесен.

Для раскалившихся в нем дум,
Для разгорающихся песен.

Пожди еще, и грянет гром,
И за клубится дым кудрявый,
И пламя, вырвавшись снопом,
Польется вниз звенящей лавой.

1857 или 1858

* * *

Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;

Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

1858

* * *

Как селянин, когда грозят
Войны тяжелые удары,
В дремучий лес несет свой клад
От нападения и пожара,
И там во мрачной тишине
Глубоко в землю зарывает,
И на чешуйчатой сосне
Свой знак с заклатьем зарубает,
Так ты, певец, в лихие дни,
Во дни гоненья рокового,
Под темной речью хорони
Свое пророческое слово.

1858

* * *

Запад гаснет в дали бледно-розовой,
Звезды небо усеяли чистое,
Соловей свищет в роще березовой,
И травую запахло душистою.

Знаю, что к тебе в думушку вкралось,
Знаю сердца немолчные жалобы,
Не хочу я, чтоб ты притворялася
И к улыбке себя принуждала бы!

Твое сердце болит безотрадное,
В нем не светит звезда ни единая —
Плачь свободно, моя ненаглядная,
Пока песня звучит соловьиная,

Соловьиная песня унылая,
Что как жалоба катится слезная,
Плачь, душа моя, плачь, моя милая,
Тебя небо лишь слушает звездное!

1858

* * *

Ты почто, злая кручинушка,
Не вконец извела меня, бедную,
Разорвала лишь душу надвое?
Не сойтися утру с вечером,
Не ужиться двум добрым молодцам;

Из-за меня они ссорятся,
А и оба меня корят, бранят.
Уж как станет меня брат корить:
«Ты почто пошла за боярина?
Напросилась в родню неровную?

Отщепенница, переметчица,
От своей родни отступница!»
«Государь ты мой, милый братец мой,
Я в родню к ним не напрашивалась,
И ты сам меня уговаривал,
Снаряжал меня, выдавал меня!»
Уж как станет меня муж корить:
«Из какого ты роду-племени?
Еще много ли за тобой приданого?

Еще чем меня опоила ты,
Приговорщица, приворотница,
Меня с нашими разлучница?»

«Государь ты мой, господин ты мой,

Я тебя не приворачивала,
И ты взял меня вольной волею,
А приданого за мной немного есть,
И всего-то сердце покорное,
Голова тебе, сударь, поклонная!»

Перекинулся хмель через реченьку,
С одного дуба на другой дуб,
И качается меж обоими,
Над быстрой водой зеленеючи,
Злой кручинушки не знаячи,
Оба дерева обнимаючи.

1858

* * *

Рассевается, расступается
Грусть под думами под могучими,
В душу темную пробивается
Словно солнышко между тучами!

Ой ли, молодец? Не расступится,
Не рассеется ночь осенняя,
Скоро сведаешь, чем искупится
Непоказанный миг веселия!

Прикачнулася, привалилася
К сердцу сызнава грусть обычная,
И головушка вновь склонилася,
Бесталанная, горемычная...

1858

* * *

Что ни день, как поломя со влагой,
Так унынье борется с отвагой,
Жизнь бежит то круто, то отлого,
Вьется вдаль неровною дорогой,
От беспечной удали к заботам
Переходит пестрым переплетом,
Думы ткут то в солнце, то в тумане
Золотой узор на темной ткани.

1858

* * *

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив,

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землей.

1858

* * *

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтые по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.

Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму
В очи тебе глядячи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.

1858

* * *

Источник за вишневым садом,
Следы голых девичьих ног.
И тут же оттиснулся рядом
Гвоздями подбитый сапог.

Все тихо на месте их встречи,
Но чует ревниво мой ум
И шепот, и страстные речи,
И ведер расплесканных шум...

1858

* * *

О друг, ты жизнь влачишь, без пользы увядая,
Пригнутая к земле, как тополь молодая;
Поблекла свежая ветвей твоих краса,
И листья кроет пыль и дольная роса.

О, долго ль быть тебе печальной и согнутой?
Смотри, пришла весна, твои не крепки путы,
Воспрянь и подымись трепещущим столбом,
Вершиною шумя в эфире голубом!

1858

* * *

В совести искал я долго обвиненья,
Горестное сердце вопрошал довольно —
Чисты мои мысли, чисты побужденья,
А на свете жить мне тяжело и больно.

Каждый звук случайный я ловлю пытливо,
Песня ли раздастся на селе далеком,
Ветер ли всколышет золотую ниву —
Каждый звук неясным мне звучит упреком.

Залегло глубоко смутное сомненье,
И душа собою вечно недовольна:
Нет ей приговора, нет ей примиренья,
И на свете жить мне тяжело и больно!

Согласить я силюсь, что несогласимо,
Но напрасно разум бьется и хлопочет,
Горестная чаша не проходит мимо,

Ни к устам зовущим низойти не хочет!

1858

* * *

Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно,
Все, что не ты, – так суетно и ложно,
Все, что не ты, – бесцветно и мертво.

Без повода и права негодуя,
Уж не кипит бунтующая кровь,
Но с пошлой жизнью слиться не могу я,
Моя любовь, о друг, и не ревнуя,
Осталась та же прежняя любовь.

Так от высот нахмуренной природы,
С нависших скал сорвавшийся поток
Из царства туч, грозы и непогоды
В простор степей выносит те же воды
И вдаль течет, спокоен и глубок.

1858

* * *

Когда природа вся трепещет и сияет,
Когда ее цвета ярки и горячи,
Душа бездейственно в пространстве утопает
И в неге врозь ее расходятся лучи.

Но в скромный, тихий день, осеннею погодой,
Когда и воздух сер, и тесен кругозор,
Не развлекаюсь я смиренною природой,
И немощен ее на жизнь мою напор.

Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений,
Сосредоточен я живу в себе самом,
И сжатая мечта зовет толпы видений,
Как зажигательным рождая их стеклом.

Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом,
Иду меж озимей чернеющей дорогой;
Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор,
На пруд и мельницу, на дикий косогор,

На берег ручейка болотисто-отлогий,
И в ближний лес вхожу. Там покрасневший клен,
Еще зеленый дуб и желтые березы
Печально на меня свои стряхают слезы;

Но дале я иду, в мечтанья погружен,
И виснут надо мной полунагие сучья,
А мысли между тем слагаются в созвучья,
Свободные слова теснятся в мерный строй,
И на душе легко, и сладостно, и странно,
И тихо все кругом, и под моей ногой
Так мягко мокрый лист шумит благоуханный.

1858

* * *

Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом,
Ряд жизней мысленно отыскивать иных
И, путь свершая мой, с улыбкой мимоходом
Смотрю на прах забот и горестей земных.

Зачем же сердце так сжимается невольно,
Когда твой встречу взор, и так тебя мне жаль,
И каждая твоя мгновенная печаль
В душе моей звучит так долго и так больно?

1858

* * *

Замолкнул гром, шуметь гроза устала,
Светлеют небеса;
Меж черных туч приветно засияла
Лазури полоса.

Еще дрожат цветы, полны водою

И пылью золотой,
О не топчи их с новою враждою
Презрительной пятой.

1858

* * *

Змея, что по скалам влечешь свои извивы
И между трав скользишь, обманывая взор,
Помедли, дай списать чешуйчатый узор:
Хочу для девы я холодной и красивой
Счеканить по тебе причудливый убор.

Пускай, когда она, скользя зарей вечерней,
К сопернику тайком счастливому пойдет,
Пускай блеснит, как ты, и в золоте и в черни,
И пестрый твой в траве напоминает ход!

1858

* * *

Ты жертва жизненных тревог,
И нет в тебе сопротивления,
Ты, как оторванный листок,
Плывешь без воли по течению;

Ты как на жниве сизый дым:
Откуда ветер ни повеет,
Он только стелется пред ним
И к облакам бежать не смеет;

Ты словно яблони цветы,
Когда их снег покрыл тяжелый:
Страхнуть тоску не можешь ты,
И жизнь тебя погнула долу;

Ты как лощинка в вешний день:
Когда весь мир благоухает,
Соседних гор ложится тень
И ей одной цвести мешает;

И как с вершин бежит в нее
Снегов растаявшая груда,
Так в сердце бедное твое
Стекает горе отовсюду!

1858

* * *

Бывают дни, когда злой дух меня тревожит
И шепчет на ухо неясные слова,
И к небу вознестись душа моя не может,
И отягченная склоняется глава.

И он, не ведая ни радости, ни веры,
В меня вдыхает злость — к кому, не знаю сам —
И лживым зеркалом могучие размеры
Лукаво придает ничтожным мелочам.

В кругу моих друзей со мной сидит он рядом,
Веселость им у нас надолго отнята,
И сердце он мое напивает ядом
И речи горькие влагает мне в уста.

И все, что есть во мне порочного и злого,
Клубится и растет все гуще и мрачней
И застилает тьмой сиянье дня родного,
И неба синеву, и золото полей,
В пустыню грустную и в ночь преобразуя
Все то, что я люблю, чем верю и живу я.

1858

* * *

С тех пор как я один, с тех пор как ты далёко,
В тревожном полусне когда забудусь я,
Светлей моей души недремлющее око
И близость явственной духовная твоя.

Сестра моей души! С улыбкою участия
Твой тихий кроткий лик склоняется ко мне,

И я, исполненный мучительного счастья,
Любящий чую взор в тревожном полусне.

О, если в этот час ты также им объята,
Мы думою, скажи, проникнуты ль одной?
И видится ль тебе туманный образ брата,
С улыбкой грустною склоненный над тобой?

1858

* * *

Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре,
О, не грусти, ты все мне дорога,
Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую как море,

Вместить не могут жизни берега.
Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце, озарила,

И лишь на землю к нам её светила
Нисходят порознь редкие лучи.
И порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты;

Нам вестью лес о ней шумит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной
И говорят, качаяся, цветы.
И любим мы любовью раздробленной

И тихий шепот вербы над ручьем,
И милой девы взор, на нас склоненный,
И звездный блеск, и все красы вселенной,
И ничего мы вместе не сольём.

Но не грусти, земное минет горе,
Пожди ещё, неволя недолга —
В одну любовь мы все сольёмся вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега!

1858

* * *

Я вас узнал, святыя убежденья,
Вы спутники моих минувших дней,
Когда, за беглой не гоняясь тенью,
И думал я и чувствовал верней,
И юною душою ясно видел
Всё, что любил, и всё, что ненавидел!

Средь мира лжи, средь мира мне чужого,
Не навсегда моя остыла кровь;
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежний гнев и прежняя любовь!
Рассеялся туман и, слава богу,
Я выхожу на старую дорогу!

По-прежнему сияет правды сила,
Ее сомненья боле не затмят;
Неровный круг планета совершила
И к солнцу снова катится назад,
Зима прошла, природа зеленеет,
Луга цветут, весной душистой веет!

1858

* * *

О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище
Среди миров иных;
Помедли здесь со мной, на этом пепелище
Твоих надежд земных!
От праха отрешась, не удержать полета
В неведомую даль!
Кто будет в той стране, о друг, твоя забота
И кто твоя печаль?
В тревоге бытия, в безбрежном колыханье
Без цели и следа,
Кто в жизни будет мне и радость, и дыханье,
И яркая звезда?
Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной
Единое звено,
И выше восходить в сиянье правды вечной

Нам врозь не суждено!

1858

МАДОННА РАФАЭЛЯ

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила;
Любовь небесная затмила
Ее земною красоту.

А он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед – и ясным оком
Голгофу видит пред собой.

1858

* * *

Дробится, и плещет, и брызжет волна
Мне в очи соленою влагой;
Недвижно на камне сию я – полна
Душа безотчетной отвагой.

Валы за валами, прибой и отбой,
И пена их гребни покрывала;
О море, кого же мне вызвать на бой,
Изведать воскресшие силы?

Почуяло сердце, что жизнь хороша,
Вы, волны, размыкали горе,
От грома и плеска проснулась душа,
Сродни ей шумящее море!

1858

* * *

Не пенится море, не плещет волна,
Деревья листьями не двинут,
На глади прозрачной царит тишина,

Как в зеркале мир опрокинут.

Сижу я на камне, висят облака
Недвижные в синем просторе;
Душа безмятежна, душа глубока,
Сродни ей спокойное море.

1858

* * *

Не брани меня, мой друг,
Гнев твой выразится худо,
Он мне только нежит слух,
Я слова ловить лишь буду,
Как они польются вдруг,
Так посыпятся, что чудо, —
Точно падает жемчуг
На серебряное блюдо!

1858

* * *

Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю:
Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою.

Как глас упрека, надо мною
Свой гром призывный прокати,
И выжги ржавчину покоя,
И прах бездействия смети.

Да вспряну я, тобой подъятый,
И, вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам!

1858

* * *

Горними тихо летела душа небесами,
Грустные долу она опускала ресницы;
Слезы, в пространство от них упадая звездами,
Светлой и длинной вились за ней вереницей.

Встречные тихо ее вопрошали светила:
«Что ты грустна? и о чем эти слезы во взоре?»
Им отвечала она: «Я земли не забыла,
Много оставила там я страданья и горя.

Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю,
Праведных души не знают ни скорби, ни злобы —
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было б о ком пожалеть и утешить кого бы!»

1858

* * *

Ты клонишь лик, о нем упоминая,
И до чела твоя восходит кровь, —
Не верь себе! Сама того не зная,
Ты любишь в нем лишь первую любовь;

Ты не его в нем видишь совершенства
И не собой привлечь тебя он мог —
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог;

То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно подойдет.

1858

* * *

Вырастает дума, словно дерево.
Вроет в сердце корни глубокие,
По поднебесью ветвями раскинется,
Задрожит, зашумит тучей листьев.

Сердце знает ту думу крепкую,
Что оно взрастило, взлелеяло,
Разум сможет ту думу окинуть,
Сможет слово ту думу высказать.

А какая то другая думушка,
Что ни высказать, ни вымерить,
Ни обнять умом, ни окинуть?
Промелькнет она без образа,

Вспыхнет дальнею зарницею,
Озарит на миг душу темную,
Много вспомнится забытого,
Много смутного, непонятного
В миг тот ясно сердцу скажется;

А рванешься за ней, погонишься —
Только очи ее и видели,
Только сердце ее и чуяло!

Не поймать на лету ветра буйного,
Тень от облака летучего
Не прибить гвоздем ко сырой земле.

1858

* * *

Тебя так любят все! Один твой тихий вид
Всех делает добрей и с жизнью мирит.
Но ты грустна; в тебе есть скрытое мученье.
В душе твоей звучит какой-то приговор;
Зачем твой ласковый всегда так робок взор
И очи грустные так молят о прощенье,
Как будто солнца свет, и вешние цветы,
И тень в полдневный зной, и шепот по дубравам,
И даже воздух тот, которым дышишь ты,
Все кажется тебе стяжанием неправым?

* * *

Хорошо, братцы, тому на свете жить,
У кого в голове добра не много есть,
А сидит там одно-одинешенько,
А и сидит оно крепко-накрепко,
Словно гвоздь обухом вколоченный.

И глядит уж он на свое добро,
Все глядит на него, не спуская глаз,
И не смотрит по сторонushкам,
А знай прет вперед, напролом идет,
Давит встречного-поперечного.

А беда тому, братцы, на свете жить,
Кому Бог дал очи зоркие,
Кому видеть дал во все стороны,
И те очи у него разбегаются;
И кажись, хорошо, а лучше есть,
А и худо, кажись, не без доброго!

И дойдет он до распутица,
Не одну видит в поле дороженьку,
И он станет, призадумается,
И пойдет вперед, воротится,
Начинает идти сызнова,
А дорогою-то засмотрится
На луга, на леса зеленые,
Залюбуется на божьи цветики
И заслушается вольных пташечек.

И все люди его корят, бранят:
«Ишь идет, мол, озирается!
Ишь стоит, мол, призадумался!
Ему б мерить всё да взвешивать,
На все боки бы поворачивать!

Не бывать ему воеводою.
Не бывать ему посадником,
Думным дьяком не бывать ему,
Ни торговым делом не правити!»

1858

* * *

Кабы знала я, кабы ведала,
Не смотрела бы из окошечка
Я на молодца разудалого,
Как он ехал по нашей улице,
Набекрень заломивши мурмолку,
Как лихого коня буланого,
Звонконового, долгогривого,
Супротив окон на дыбы вздымал!

Кабы знала я, кабы ведала,
Для него бы я не рядилася,
С золотой каймой ленту алую
В косу длинную не вплетала бы,
Рано до свету не вставала бы,
За околицу не спешила бы,
В росе ноженьки не мочила бы,
На проселок тот не глядела бы,
Не проедет ли тем проселком он,
На руке держа пестра сокола!

Кабы знала я, кабы ведала,
Не сидела бы поздно вечером,
Пригорюнившись, на завалине,
На завалине, близ колодезя,
Поджидаячи да гадаючи,
Не придет ли он, ненаглядный мой,
Напоить коня студеной водой!

1858

* * *

К твоим, царица, я ногам,
Несу и радость и печали,
Мечты, что сердце волновали,
Веселье с грустью пополам.

Припомни день, когда ты, долу
Склонясь задумчивой главой,

Внимала русскому глаголу
Своею русскою душой;

Я мыслил, песни те слагая:
Они неведомо замрут —
Но ты дала им, о благая,
Свою защиту и приют.

Встречай же в солнце и в лазури,
Царица, радостные дни,
И нас, певцов, в годину бури
В своих молитвах помяни!

1858

* * *

Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!
С жизнью бороться приходится, с бабой-ягою.
Старая крепко меня за бока ухватила,
Сломится, так и гляжу, молодецкая сила.

Пусть бы хоть молча, а то ведь накинута с бранью,
Слух утомляет мне, сплетница, всякою дрянью.
Ох, насолили мне дразги и мелочи эти!

Баба, постой, погоди, не одна ты на свете:
Сила и воля нужны мне для боя иного —
После, пожалуй, с тобою мы схватимся снова!

1859

* * *

Сижу да гляжу я всё, братцы, вон в эту сторонку,
Где катятся волны, одна за другой вперегонку.
Волна погоняет волну среди бурного моря,
Что день, то за горем все новое валится горе.

Сижу я и думаю: что мне тужить за охота,
Коль завтра прогонит заботу другая забота?
Ведь надобно ж место все новым да новым кручинам,

Так что же тужить, коли клин выбивается клином?

1859

* * *

Есть много звуков в сердца глубине,
Неясных дум, непетых песней много;
Но заглушает вечно их во мне
Забот немолчных скучная тревога.

Тяжел ее непрошенный напор,
Издавна сердце с жизнью боролось —
Но жизнь шумит, как вихорь ломит бор,
Как ропот струй, так шепчет сердца голос!

1859

* * *

К страданиям чужим ты горести полна,
И скорбь ничья тебя не проходила мимо;
К себе лишь ты одной всегда неумолима,
Всегда безжалостна и вечно холодна!

Но если б видеть ты любящею душою
Могла со стороны хоть раз свою печаль —
О, как самой себя тебе бы стало жаль
И как бы плакала ты грустно над собою!

1859

* * *

О, если б ты могла хоть на единый миг
Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды!
О, если бы хоть раз я твой увидел лик,
Каким я знал его в счастливейшие годы!

Когда в твоих глазах засветится слеза,
О, если б эта грусть могла пройти порывом,
Как в теплую весну пролётная гроза,

Как тень от облаков, бегущая по нивам!

1859

* * *

Нас не преследовала злоба,
Не от вражды иль клеветы —
От наших дум ушли мы оба,
Бежали вместе, я и ты.

Зачем же прежний глас упрека
Опять твердит тебе одно?
Опять пытающее око
Во глубь души устремлено?

Смотри: наш день восходит чисто,
Ночной рассеялся туман,
Играя далью золотистой,
Нас манит жизни океан,

Уже надутое ветрило
Наш челн уносит в новый край...
Не сожалей о том, что было,
И взор обратно не кидай!

1859

* * *

Исполать тебе, жизнь – баба старая,
Привередница крикливая,
Что ты, лаючись, накликалась,
Растолкала в бока добра молодца,
Растрепала его думы тяжкие!
Что ты сердца голос горестный
Заглушила бранью крупною!
Да не голос один заглушила ты —
Заглушила ты тот гусярный звон,
Заглушила песни многие,
Что в том голосе раздавались,
Затоптала все божьи цветики,
Что сквозь горести пробивались!
Пропадай же, жизнь – баба старая!

Дай разлиться мне по поднебесью,
Разлететься душой свободною,
Песней вольною, бесконечною!

1859

И. С. АКСАКОВУ

Судя меня довольно строго,
В моих стихах находишь ты,
Что в них торжественности много
И слишком мало простоты.

Так. В беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир,
И я не раз под голос грома,
Быть может, строил мой псалтырь.

Но я не чужд и здешней жизни.
Служа таинственной отчизне,
Я и в пылу душевных сил
О том, что близко, не забыл.

Поверь, и мне мила природа,
И быт родного нам народа —
Его стремленья я делю,
И всё земное я люблю,

Все ежедневные картины:
Поля, и села, и равнины,
И шум колеблемых лесов,
И звон косы в лугу росистом,

И пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков;
В степи чумацкие ночлеги,
И рек безбережный разлив,

И скрип кочующей телеги,
И вид волнующихся нив;
Люблю я тройку удалую,
И свист саней на всем бегу,

На славу кованную сбрую,
И золоченую дугу;
Люблю тот край, где зимы долги,
Но где весна так молода,

Где вниз по матушке по Волге
Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явления,
Тобой описанные, друг,
Твои гражданские стремленья
И честной речи трезвый звук.

Но всё, что чисто и достойно,
Что на земле сложилось стройно,
Для человека то ужель,
В тревоге вечной мирозданья,
Есть грань высокого призванья
И окончательная цель?

Нет, в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!

Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовью на землю,
Но выше просится душа;

И что ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке —
О том поведать не могу я
На ежедневном языке.

Январь 1859

* * *

Пусть тот, чья честь не без укора,
Страшится мнения людей;
Пусть ищет шаткой он опоры

В рукоплесканиях друзей!

Но кто в самом себе уверен,
Того хулы не потрясут —
Его глагол нелицемерен,
Ему чужой не нужен суд.

Ни пред какой земною властью
Своей он мысли не таит,
Не льстит неправому пристрастью,
Вражде неправой не кадит;

Ни пред венчанными царями,
Ни пред судилищем молвы
Он не торгуется словами,
Не клонит рабски головы.

Друзьям в угодность, боязливо
Он никому не шлет укор;
Когда ж толпа несправедливо
Свой постановит приговор,

Один, не следуя за нею,
Пред тем, что чисто и светло,
Дерзает он, благоговей,
Склонить свободное чело!

Январь 1859

* * *

На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,
Дрожа, несется звон. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений.

И каждый мой упрек я вспоминаю вновь,
И каждое твержу приветливое слово,
Что мог бы я сказать тебе, моя любовь,
Но что внутри себя я схоронил сурово!

1862

Против течения

А. К. Толстой – Александру II
Август или сентябрь 1861 г. ²³

Ваше величество, долго думал я о том, каким образом мне изложить Вам дело, глубоко затрагивающее меня, и пришел к убеждению, что прямой путь и здесь, как и во всех других обстоятельствах, является самым лучшим. Государь, служба, *какова бы она ни была*, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое *литературное дарование*, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель. Это не новое для меня призвание; я бы уже давно отдался ему, если бы в течение известного времени (до сорока лет) не насиловал себя из чувства долга, считаясь с моими родными, у которых на это были другие взгляды. Итак, я сперва находился на гражданской службе, потом, когда вспыхнула война, я, как все, стал военным. После окончания войны я уже готов был оставить службу, чтобы всецело посвятить себя литературе, когда Вашему величеству угодно было сообщить мне через посредство моего дяди Перовского ²⁴ о Вашем намерении, чтобы я состоял при Вашей особе. Мои сомнения и колебания я изложил моему дяде в письме, с которым он Вас знакомил, но так как он еще раз подтвердил мне принятое Вашим величеством решение, я подчинился ему и стал флигель-адъютантом Вашего величества. Я думал тогда, что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. *Служба и искусство несовместимы*, одно вредит другому, и надо делать выбор. Большой похвалы заслуживало бы, конечно, непосредственное деятельное участие в государственных делах, но призвания к этому у меня нет, в то время как другое призвание мне дано. Ваше величество, мое положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом.

Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определившимся путем и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях. Что же касается до Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе, и я счастлив, что могу предложить Вам: это средство – *говорить во что бы то ни стало правду*, и это – единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира. Я не был бы достоин ее, государь, если бы в настоящем моем прошении прибегал к каким-либо умолчаниям или искал мнимых предлогов.

Я всецело открыл Вам мое сердце и всегда готов буду открыть его Вам, ибо предпочитаю вызвать Ваше неудовольствие, чем лишиться Вашего уважения. Если бы, однако, Вашему величеству угодно было предоставить право приближаться к особе Вашего величества только лицам, облеченным официальным званием, позвольте мне, как и до войны, скромно стать камер-юнкером, ибо мое единственное честолюбивое желание, государь, – оставаться Вашего величества самым верным и преданным подданным.

Гр. А. Толстой ²⁵

²³ 27 июля 1861 г. Толстой сообщил жене из Петергофа, что хочет написать Александру II о своей отставке в Крым, так как «говорить теперь невозможно». Александр II уехал в Крым 6 августа 1861 г. Указ об увольнении Толстого датирован 28 сентября. Этим определяется дата письма.

²⁴ Л. А. Перовского.

²⁵ Ср. с дошедшим до нас отрывком из другого недатированного письма Александру II, написанного позже: «Ваше величество, есть два вида преданности своему монарху: один состоит в том, чтобы всегда быть одного мнения с ним и скрывать от него все, могущее возбудить в нем неудовольствие, уменьшая в его представлении силу и значительность идей, стоящих в про-

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

1

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?

Сдайтесь натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения —
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»

2

Други, не верьте! Все та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звезды небесные!

Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

3

Вспомните: в дни Византии расслабленной,
В приступах ярых на божьи обители,
Дерзко ругаясь святыне награбленной,
Так же кричали икон истребители:

тиворечии с его системой управления; подобная преданность, когда она не есть предательство, могла бы быть названа преданностью лакея или человека близорукого. Другой – истинный вид – преданности состоит в том, чтобы показывать монарху все вещи в их подлинном свете, предупреждать, когда надо, об опасности, какая она есть, и – в согласии с совестью и в меру разума каждого – предлагать наилучший в данных обстоятельствах способ действия. Такова, государь, моя преданность Вам. Не занимая никакого официального положения, не принадлежа ни к какой партии, я имею возможность слышать все мнения, подводить им совокупный итог и делать из них заключения, которые Вашему величеству существенно было бы знать...»

«Кто воспротивится нашему множеству?
Мир обносили мы силой мышления —
Где ж побежденному спорить художеству
Против течения?»

4

В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово учителя,
Книжники так говорили надменные:

«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»

5

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею —
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!

Верх над конечным возьмет бесконечное
Верю в наше святое значение,
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!

1867

* * *

Эти бедные селенья.
Эта скудная природа!

Ф. Тютчев

Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный

Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.

Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали —
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!

Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится.
И к тому ж мы терпеливы —
Этим нечего хвалиться!

Февраль, 1869

И. А. ГОНЧАРОВУ

Не прислушивайся к шуму
Толков, сплетен и хлопот,
Думай собственную думу
И иди себе вперед!

До других тебе нет дела,
Ветер пусть их носит лай!
Что в душе твоей созрело —
В ясный образ облакай!

Тучи черные нависли —
Пусть их виснут – черта с два!
Для своей живи лишь мысли,
Остальное трын-трава!

1870

* * *

Темнота и туман застилают мне путь,
Ночь на землю все гуще ложится,
Но я верю, я знаю: живет где-нибудь,
Где-нибудь да живет царь-девица!

Как достичь до нее – не ищи, не гадай,

Тут расчет никакой не поможет,
Ни догадка, ни ум, но безумье в тот край,
Но удача принести тебя может!

Я не ждал, не гадал, в темноте поскакал
В ту страну, куда нету дороги,
Я коня разнуздал, наудачу погнал
И в бока ему втиснул остроги!

Август 1870

* * *

В монастыре пустынном близ Кордовы
Картина есть. Старательной рукой
Изобразил художник в ней суровый,
Как пред кумиром мученик святой
Лежит в цепях и палачи с живого
Сдирают кожу... Вид картины той,
Исполненный жестокого искусства,
Сжимает грудь и возмущает чувство.
Но в дни тоски, мне все являясь снова,
Упорно в мысль вторгается она,
И мука та казнимого святого
Сегодня мне понята и родна:
С моей души совлечены покровы,
Живая ткань ее обнажена,
И каждое к ней жизни прикосанье
Есть злая боль и жгучее терзанье.

Осень 1870

* * *

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,
В полуденных лучах следы недавней стужи
Дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо
И морщит на полях синеющие лужи.

Еще трещит камин, отливами огня
Минувший тесный мир зимы напоминая,
Но жаворонок там, над озимью звеня,
Сегодня возвестил, что жизнь пришла иная.

И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,
Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,
И громко вторят им бегущие ручьи,
Колебля тростника желтеющие перья.

Пускай же, как они по глине и песку
Растаявших снегов, журча, уносят воды,
Бесследно унесет души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей природы!

25 декабря 1870

* * *

Про подвиг слышал я Кротонского бойца,
Как, юного взвалив на плечи он тельца,
Чтоб силу крепких мышц умножить постепенно,
Вкруг городской стены ходил, под ним согбенный,
И ежедневно труд свой повторял, пока
Телец тот не дорос до тучного быка.

В дни юности моей, с судьбой в отважном споре,
Я, как Милон, взвалил себе на плечи горе,
Не замечая сам, что бремя тяжело;
Но с каждым днем оно невидимо росло,
И голова моя под ним уж поседела,
Оно же все растет без меры и предела!

Май 1871

НА ТЯГЕ

Сквозит на зареве темнеющих небес
И мелким предо мной рисуется узором
В весенние листы едва одетый лес,
На луг болотистый спускаясь косогором.

И глушь и тишина. Лишь сонные дрозды
Как нехотя свое доканчивают пенье;
От луга всходит пар... мерцающей звезды
У ног моих в воде явилось отраженье;

Прохладой дунуло, и прошлогодний лист

Зашелестел в дубах... Внезапно легкий свист
Послышался; за ним, отчетисто и внятно,
Стрелку знакомый хрип раздался троекратно,

И вальдшнеп протянул – вне выстрела. Другой
Летит из-за лесу, но длинною дугой
Опушку обогнул и скрылся. Слух и зрение
Мои напряжены, и вот через мгновенье,

Свистя, еще один, в последнем свете дня,
Чертой трепещущей несется на меня.
Дыханье притаив, нагнувшись под осиною,
Я выждал верный миг – вперед на пол-аршина

Я вскинул – огонь блеснул, по лесу грянул гром —
И вальдшнеп падает на землю колесом.
Удара тяжкого далекие раскаты,
Слабея, замерли. Спокойствием объятый,

Вновь дремлет юный лес, и облаком седым
В недвижимом воздухе висит ружейный дым.
Вот донеслась еще из дальнего болота
Весенних журавлей ликующая нота —

И стихло все опять – и в глубине ветвей
Жемчужной дробию защелкал соловей.
Но отчего же вдруг, мучительно и странно,
Минувшим на меня повеяло неожиданно
И в этих сумерках, и в этой тишине
Упреком горестным оно предстало мне?

Былые радости! Забытые печали!
Зачем в моей душе вы снова прозвучали
И снова предо мной, средь явственного сна,
Мелькнула дней моих погибшая весна?

Май 1871

* * *

«...» В самом течении и ритме стихов дышит у него ²⁶ радость жизни; часто внутренним зрением улавливаешь на его лице веселую, шутливую, порою – насмешливую улыбку. Иной раз даже льется через край страстное, взволнованное и волнующее чувство. Хочется вздохнуть всю грудью, хочется крикнуть, – нужны междометия, звуки без понятий, один припев:

Гой, ты, родина моя!
Гой, ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья!
Ветер, степь да тучи!
«Почуяло сердце, что жизнь хороша», и потому
Сердце скачет лихо:
Ой, ладо, лель-люли!

У него есть, у Толстого, неудержимый восторг перед счастьем бытия, перед радостью дыхания, и прямо из души выливается один из прекраснейших звуков русской поэзии – эта светлая волна ранней весны, этот вечно свежий, полный восхищения и грусти клик человеческого сердца:

То было в утро наших лет —
О счастье! о слезы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!
О свежий дух березы!

Он вообще – поэт весны; так сказать, несомненная, очевидная, всем нравящаяся, она, приспособленная к общечеловеческому вкусу, является и его любимым временем года, «зеленеет в его сердце». Правда, отдельными мотивами есть у него и песнь об осени, о которой он так прекрасно говорит, что она наступает, когда «землей пережита пора роскошных сил и мощных трепетаний, стремленья улеглись», – но не эта «последняя теплота» природы влечет его преимущественное внимание. Нет, майское, счастливое, ласковое – вот что ликующими ручейками звенит у него в стихах, и кого не возбудит эта божественная игра, которая разыгрывается в свежем, в зеленом, в лесу молодом, где синее медуница, где черемуха гнет свои пушистые ветви?

Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи,
И много в небе рея
Поет пернатых стай —
Всех месяцев звончее
Веселый месяц май!

От этой звонкости «сердце млеет и кружится голова», и недаром Канут, ослепленный природой, обманутый коварной, усыпляющей властью весны с ее шиповниками и соловьями,

²⁶ А. К. Толстого.

не чуял близкий гибели, беды неминуемой, – напрасно предостерегала его любящая супруга, напрасно взывала к нему: «Любимый, желанный, болезный»...

Но в земной весне с ее васильками и синими кувшинчиками поэт не остался, веселый месяц май не удовлетворяет его и ощущается им как некая часть, которой он не в силах слить с целым. Подавленный своею дробностью и разрозненностью, Толстой всегда чувствует отдельно землю и отдельно небо; у него есть соседство двух миров, но не их тожество, на которое способна только душа внутренне претворяющая. Вселенная распадается для него на два полушария – не слито, не достигнуто великое Одно. И потому он часто в разных формах говорит о том, что душа его влекома в беспредельное, чует незримое, но что в то же время он не чужд и здешней жизни – она лишь не кажется ему «окончательной целью». Ибо цель – в цельности.

Гляжу с любовью на землю,
Но выше просится душа

– вот искреннее признание Толстого. Он любит землю, но возносится над нею и в своей лирике запечатлел отрадную – быть может, от других унаследованную, отчасти на веру принятую – веру, что земное не есть начало и не есть завершение жизни. Его религиозное чувство, правда, сильно умерено его эстетизмом, но в самой эстетике его, в его поэзии таятся и воспоминания о сверхчувственном и надежды на него. Он смотрит на жизнь, и ему кажется:

Все это было когда-то, —
Но только не помню когда.

Юрий Айхенвальд

* * *

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру
Еще не пела звонко,
И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий.

То было раннею весной,
В тени берез то было,
Когда с улыбкой предо мной
Ты очи опустила.

То на любовь мою в ответ
Ты опустила вежды —
О жизнь! о лес! о солнца свет!

О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,
На лик твой глядя милый,
То было раннею весной,
В тени берез то было!

То было в утро наших лет —
О счастье! о слезы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!
О свежий дух березы!

Май 1871

* * *

Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечный перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пережита
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;
Стремленья улеглись; иная красота
Сменила прежнюю; ликующего лета
Лучами сильными уж боле не согрета,
Природа вся полна последней теплоты; —
Еще вдоль влажных меж красуются цветы,
А на пустых полях засохшие былины
Опутывает сеть дрожащей паутины;
Кружась медленно в безветрии лесном,
На землю желтый лист спадает за листом;
Невольно я слежу за ними взором думным,
И слышится мне в их падении бесшумном:
— Всему настал покой, прими ж его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты;
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
По совести ль тобой задача свершена
И жатва дней твоих обильна иль скудна?

Сентябрь 1874

* * *

Земля цвела. В лугу, весной одетом,
Ручей меж трав катился, молчалив;
Был тихий час меж сумраком и светом,
Был легкий сон лесов, полей и нив;

Не оглушал их соловей приветом;
Природу всю широко осенив,
Царил покой; но под безмолвной тенью
Могучих сил мне чулось движенье.

Не шелестя над головой моей,
В прозрачный мрак деревья улетали;
Сквозной узор их молодых ветвей,
Как легкий дым, терялся в горней дали;

Лесной чебёр и полевой шалфей,
Блестя росой, в траве благоухали,
И думал я, в померкший глядя свод:
Куда меня так манит и влечет?

Проникнут весь блаженством был я новым,
Исполнен весь неведомых мне сил:
Чего в житейском натиске суровом
Не смел я ждать, чего я не просил —

То свершено одним, казалось, словом,
И мнилось мне, что я лечу без крыл,
Перехожу, подъят природой всею,
В один порыв неудержимый с нею!

Но трезв был ум, и чужд ему восторг,
Надежды я не знал, ни опасенья...
Кто ж мощно так от них меня отторг?
Кто отрешил от тягости хотенья?

Со злобой дня души постыдный торг
Стал для меня без смысла и значенья,
Для всех тревог бесследно умер я
И ожил вновь в сознании бытия...

Тут пронеслось как в листьях дуновение,

И как ответ слышалось мне:
Задачи то старинной разрешенье
В таинственном ты видишь полусне!

То творчества с покоем соглашенье,
То мысли пыл в душевной тишине...
Лови же миг, пока к нему ты чуток, —
Меж сном и бденьем краток промежуток!

Май – сентябрь 1875

* * *

Во дни минувшие бывало,
Когда являлася весна,
Когда природа воскресала
От продолжительного сна,
Когда ручьи текли обильно
И распускалися цветы,
Младое сердце билось сильно,
Кипели весело мечты;

С какою радостью чистой
Я вновь встречал в бору сыром
Кувшинчик синий и пушистый
С его мохнатым стебельком;
Какими чувствами родными
Меня манил, как старый друг,
Звездами полный золотыми
Еще никем не смятый луг!

Потом пришла пора иная,
И с каждой новою весной,
Былое счастье вспоминая,
Грустней я делался; порой,
Когда темнели неба своды,
Едва шептались тростники,
Звучней ручья катились воды,
Жужжали поздние жуки,
Казалось мне, что мне недаром
Грустить весною суждено,
Что неожиданным ударом
Блаженство кончится должно.

...

...

* * *

Как часто ночью в тишине глубокой
Меня тревожит тот же дивный сон:
В туманной мгле стоит дворец высокий
И длинный ряд дорических колонн,
Средь диких гор от них ложатся тени,
К реке ведут широкие ступени.

И солнце там приветливо не блещет,
Порой сквозь тучи выглянет луна,
О влажный берег порой лениво плещет,
Катясь мимо, сонная волна,
И истуканов рой на плоской крыше
Стоит во тьме один другого выше.

Туда, туда неведомая сила
Вдоль по реке влечет мою ладью,
К высоким окнам взор мой пригвоздила,
Желаньем грудь наполнила мою
...
...

Я жду тебя. Я жду, чтоб ты склонила
На темный дол свой животворный взгляд,
Тогда взойдет огнистое светило,
В алмазных искрах струи заблестят,
Проснется замок, позлатятся горы
И загремят невидимые хоры.

Я жду, но тщетно грудь моя трепещет,
Лишь сквозь туман виднеется луна.
О влажный берег лишь лениво плещет,
Катясь мимо, сонная волна,
И истуканов рой на плоской крыше
Стоит во тьме один другого выше.

ГАРАЛЬД СВЕНГОЛЬМ

His voice it was deep

like the wave of the sea.
Его голос звучал как морская волна.
Мрачен взор был грозящих очей,
И была его длань как погибель сильна,
Сердце зыблемой трости слабей.
Не в кровавом бою он врагами убит,
Не грозою повержен он в прах,
Под могильным холмом он без раны лежит,
Сам себе разрушитель и враг.
Струны мощные арфы певец напрягал,
Струны жизни порвались в нем,
И начатую песню Гаральд не скончал,
И лежит под могильным холмом.
И сосна там раскинула силу ветвей,
Словно облик его, хороша,
И тоскует на ней по ночам соловей,
Словно песню кончает душа.

В АЛЬБОМ

Стрелок, на той поляне
Кто поздно так бежит?
Что там в ночном тумане
Клубится и кипит?

Что значит это пенье,
И струн в эфире звон,
И хохот, и смятенье,
И блеск со всех сторон?

— Друзья, то вереница
Волшебниц и сильфид;
Пред ними их царица
Воздушная бежит;

Бежит глухой дорожкой,
Мелькает вдоль реки, —
Под маленькою ножкой
Не гнутся стебельки.

Ей нет красавиц равных,
Ее чудесен вид,
И много бардов славных

Любовью к ней горит;

Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть
Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.

Когда луна золотая
Глядит в зеркало вод,
В лучах ее играя,
Как сон она плывет;

Наступит ли денница,
Она спешит уж прочь;
Пушок – ей колесница,
Ее отчизна – ночь.

Лишь в сумерках застанет
В лесу она стрелка,
Зовет его и манит
К себе издадека,

Скользит над влагой зыбкой
Среди глухих болот
И странника с улыбкой
Над пропастию ждет.

Сильфид она всех краше,
Волшебниц всех милей;
Седые барды наши
Горят любовью к ней;

Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть
Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.

Благословляю я свободу

ГРЕШНИЦА

1

Народ кипит, веселье, хохот,
Звон лютней и кимвалов грохот,
Кругом и зелень, и цветы,
И меж столбов, у входа дома,
Парчи тяжелой переломы
Тесьмой узорной подняты;
Чертоги убраны богато,
Везде горит хрусталь и злато,
Возниц и коней полон двор;
Теснясь за трапезой великой,
Гостей пирует шумный хор,
Идет, сливаясь с музыкой,
Их перекрестный разговор.

Ничем беседа не стеснима,
Они свободно говорят
О ненавистном иге Рима,
О том, как властвует Пилат,
О их старшин собрание тайном,
Торговле, мире и войне,
И муже том необычайном,
Что появился в их стране.

2

«Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью он учил,
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил;
Не терпит гнева он, ни мщенья,
Велит за зло платить добром;
Есть неземная сила в нем,
Слепым он возвращает зренье,
Дарит и крепость и движенье
Тому, кто был и слаб и хром;

Ему признания не надо,
Сердец мышление отперто,
Его пытающего взгляда
Еще не выдержал никто.

Целя недуг, врачуя муку,
Везде спасителем он был,
И всем простер благую руку,
И никого не осудил.
То, видно, Богом муж избранный!
Он там, по онпол Иордана,
Ходил как посланный небес,
Он много там свершил чудес,
Теперь пришел он, благодушный,
На эту сторону реки,
Толпой прилежной и послушной
За ним идут ученики».

3

Так гости, вместе рассуждая,
За длинной трапезой сидят;
Меж ними, чашу осушая,
Сидит блудница молодая;
Ее причудливый наряд
Невольно привлекает взоры,
Ее нескромные уборы
О грешной жизни говорят;
Но дева падшая прекрасна;
Взирая на нее, навряд
Пред силой прелести опасной
Мужи и старцы устоят:
Глаза насмешливы и смелы,
Как снег Ливана, зубы белы,
Как зной, улыбка горяча;
Вкруг стана падая широко,
Сквозные ткани дразнят око,
С нагого спущены плеча.

Ее и серьги, и запястья,
Звения, к восторгам сладострастья,
К утехам пламенным зовут,
Алмазы блещут там и тут,
И, тень бросая на ланиты,
Во всем обилии красы,

Жемчужной нитью перевиты,
Падут роскошные власы;
В ней совесть сердца не тревожит,
Стыдливо не вспыхает кровь,
Купить за злато всякий может
Ее продажную любовь.

И внемлет дева разговорам,
И ей они звучат укором;
Гордыня пробудилась в ней,
И говорит с хвастливым взором:
«Я власти не страшусь ничьей;
Заклад со мной держать хотите ль?
Пускай предстанет ваш учитель,
Он не смутит моих очей!»

4

Вино струится, шум и хохот,
Звон лютней и кимвалов грохот,
Куренье, солнце и цветы;
И вот к толпе, шумящей празднo,
Подходит муж благообразный;
Его чудесные черты,
Осанка, поступь и движенья,
Во блеске юной красоты,
Полны огня и вдохновенья;
Его величественный вид
Неотразимой дышит властью,
К земным утехам нет участия,
И взор в грядущее глядит.

То муж на смертных непохожий,
Печать избранника на нем,
Он светел, как архангел божий,
Когда пылающим мечом
Врага в кромешные оковы
Он гнал по манию Иеговы.
Невольно грешная жена
Его величьем смущена
И смотрит робко, взор понизив,
Но, вспомня свой недавний вызов,
Она с седалища встает
И, стан свой выпрямивши гибкий
И смело выступив вперед,

Пришельцу с дерзкою улыбкой
Фиал шипящий подает.

«Ты тот, что учит отреченью —
Не верю твоему ученью,
Мое надежней и верней!
Меня смутить не мысли ныне,
Один скитавшийся в пустыне,
В посте проведенный сорок дней!
Лишь наслажденьем я влекома,
С постом, с молитвой незнакома,
Я верю только красоте,
Служу вину и поцелуюм,
Мой дух тобою не волнуем,
Твоей смеюсь я чистоте!»

И речь ее еще звучала,
Еще смеялася она,
И пена легкая вина
По кольцам рук ее бежала,
Как общий говор вокруг возник,
И слышит грешница в смущенье:
«Она ошиблась, в заблужденье
Ее привел пришельца лик —
То не учитель перед нею,
То Иоанн из Галилеи,
Его любимый ученик!»

5

Небрежно немощным обидам
Внимал он девы молодой,
И вслед за ним с спокойным видом
Подходит к храмину другой.
В его смиренном выраженье
Восторга нет, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очерк дивного чела.

То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красоты,
Делятся на две половины
Его волнистые власы;
Поверх хитона упадая,

Одела риза шерстяная
Простою тканью стройный рост,
В движеньях скромн он и прост,
Ложась вкруг уст его прекрасных,
Слегка раздвоена брада,
Таких очей благих и ясных
Никто не видел никогда.

И пронеслося над народом
Как дуновенье тишины,
И чудно благостным приходом
Сердца гостей потрясены.
Замолкнул говор. В ожиданье
Сидит недвижимое собранье,
Тревожно дух переводя.
И он, в молчании глубоком,
Обвел сидящих тихим оком
И, в дом веселья не входя,
На дерзкой деве самохвальной
Остановил свой взор печальный.

6

И был тот взор как луч денницы,
И все открылося ему,
И в сердце сумрачном блудницы
Он разогнал ночную тьму;
И все, что было там таимо,
В грехе что было свершено,
В ее глазах неумолимо
До глубины озарено;
Внезапно стала ей понятна
Неправда жизни святотатной,
Вся ложь ее порочных дел,
И ужас ею овладел.

Уже на грани сокрушенья,
Она постигла в изумленье,
Как много благ, как много сил
Господь ей щедро подарил
И как она восход свой ясный
Грехом мрачила ежечасно;
И, в первый раз гнушаясь зла,
Она в том взоре благодатном
И кару дням своим развратным,

И милосердие прочла.

И, чуя новое начало,
Еще страхась земных препон,
Она, колеблясь, стояла...
И вдруг в тиши раздался звон
Из рук упавшего фиала...
Стесненной груди слышен стон.
Бледнеет грешница младая,
Дрожат открытые уста,
И пала ниц она, рыдая,
Перед святынею Христа.

1857

...Привязанный хозяйственными заботами и служебными обязанностями к Степановке и Мценску, я только в середине зимы мог на неделю или на две отрываться в Москву и, конечно, не имел времени и побуждений бывать в других городах. Не помню, почему именно осенью 1868 года я в бытность в Орле ночевал в тамошней почтовой гостинице. Проходя по коридору, я вдруг остановился в изумлении перед человеком, шедшим мне навстречу и, по-видимому, изумленным не менее меня. Промедлив секунду, мы, не говоря ни слова, бросились обнимать друг друга. Человек этот был граф Ал. Конст. Толстой.

– Вы не завтракаете? – спросил он меня. – Чем же вас угощать?

Я попросил кофею. «Кофею, – крикнул он вошедшему слуге, – самого лучшего кофею».

Не берусь передавать подробности нашей душевной беседы. Тут мы узнали друг от друга, что, невзирая на различие путей жизни, мы ни на минуту не переставали носить в груди самые живейшие взаимные симпатии, которые должны были загораться от первого благосклонного соприкосновения.

А. А. Фет. «Воспоминания»²⁷

* * *

А. К. Толстой, останавливаясь в Козельске, часто приходил в монастырь пешком. Для любителя природы и охотника три версты, конечно, не представляли собою серьезного расстояния. Кто знает, может быть, отсюда он взял некоторые картины для своего «Иоанна Дамаскина»:

Благословляю вас, леса,
Благословляю горы, доли...

Как мог взять отсюда же и прелестные тоны для изображения жизни, монашеской «установности» в этом его прелестном стихотворении.

В. В. Розанов²⁸

²⁷ А. А. Фет (1812 – 1892) – поэт.

²⁸ В. В. Розанов (1856 – 1919) – публицист, критик.

ИОАНН ДАМАСКИН

1

Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом;
Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убраны стены янтарями;
В полдневный зной приют и тень
Дают навесы, шелком ткани,
В узорных банях ночь и день
Шумят студеные фонтаны.

Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен; не той
Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Двора волнение забыть
И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.

Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен.
Но шум и блеск его тревожит,
Ужиться с ними он не может,

И, тяжелой думой обуян,
Тоска в душе и скорбь на лице,
Вошел правитель Иоанн
В чертог дамасского владыки.

«О государь, внимли! Мой сан,
Величье, пышность, власть и сила,
Все мне несносно, все постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить!
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И тот просящему в ответ:
«Возвеселись, мой раб любимый!
Печали вечной в мире нет
И нет тоски неизлечимой!

Твоею мудростью одной
Кругом Дамаск могуч и славен.
Кто ныне нам величьем равен?
И кто дерзнет на нас войной?
А я возвышу жребий твой —
Недаром я окрест державен —
Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мне мой брат единый:
Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!»
К нему певец: «Твой щедрый дар,
О государь, певцу не нужен;
С иною силою он дружен;
В его груди пылает жар,
Которым зиждется создание;
Служить творцу его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.

Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:

Богатство, сила, слава, честь —
Все в мире том в избытке есть;
А все сокровища природы:
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина —
То всё одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет!

О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому Господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы!
То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я сдержать желанье,
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!»

И вот правителя дворцы
Добычей сделались забвенья;
Оделись пестрые зубцы
Травой и прахом запустенья;
Его несчетная казна
Давно уж нищим раздана,
Усердных слуг не видно боле,
Рабы отпущены на волю,
И не укажет ни один,
Куда их скрылся господин.
В хоромы стены и картины
Давно затканы паутиной,
И мхом фонтаны заросли;
Плющи, ползущие по хорам,
От самых сводов до земли
Зеленым падают узором,
И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких плитах,

И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых.

2

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от края и до края,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Как горней бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья.
Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно, —
Какие ж мне воспеть дела?
Какие битвы или войны?
Где я для дара моего
Найду высокую задачу?
Чье передам я торжество
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
Блажен, кто жизнь умел
Хоть раз коснуться правды вечной,
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излиянья!
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья!
И не в венце сияет он,

К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит он, гордый сын побед;
Не в торжестве величья – нет, —
Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простые он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.

Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, твои оковы,
Твоим страданием страдать,
И крест на плечи твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой твоей одежды,
Лишь пыльный след твоих шагов,
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отвержайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!

3

Часы бегут. Ночная тень
Не раз сменяла зной палящий,
Не раз, всходя, лазурный день
Свивал покров с природы спящей;
И перед странником вдали
И волновались и росли

Разнообразные картины:
Белели снежные вершины
Над лесом кедровым густым,
Иордан сверкал в степном просторе,
И Мертвое чернело море,
Сливаясь с небом голубым.
И вот, вися в степи широкой,
Чертой изогнутой легло
Пред ним Кедронского потока
Давно безводное русло.

Смеркалось. Пар струился синий,
Кругом царила тишина;
Мерцали звезды над пустыней,
Всходила медленно луна.
Брегов сожженные стремнины
На дно сбегает крутизной,
Спирая узкую долину
Двойной отвесною стеной.

Внизу кресты, символы веры,
Стоят в обрывах здесь и там,
И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
Сюда со всех концов земли
Бежав мирского треволненья,
Отцы святыя притекли
Искать покоя и спасенья.

С краев до высохшего дна,
Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведена
Из камней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом,
И вот, спускаясь по скалам,
При свете звезд, усталым шагом
Подходит странник к воротам.

«Тебя, безбурное жилище,
Тебя, познания купель,
Житейских помыслов кладбище
И новой жизни колыбель,

Тебя приветствую, пустыня,
К тебе стремился я всегда!
Будь мне убежищем отныне,
Приютом песен и труда!
Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат,
Приносит вам, отцы святые,
Свой дар и гусли новый брат!»

4

«Отшельники Кедронского потока,
Игумен вас сзывает на совет!
Сбирайтесь все: пришедший издалека
Вам новый брат приносит свой привет!
Велики в нем и вера и призванье,
Но должен он пройти чрез испытанье.
Из вас его вручаю одному:
Он тот певец, меж всеми знаменитый,
Что разогнал иконоборства тьму,
Чьим словом ложь поправа и разбита,
То Иоанн, святых икон защита —
Кто хочет быть наставником ему?»
И лишь назвал игумен это имя,
Заволновался весь монахов ряд,
И на певца дивятся и глядят,
И пробегает шепот между ними.

Главами все поникнувши седыми,
С смирением игумну говорят:
«Благословен сей славный Божий воин,
Благословен меж нас его приход,
Но кто же здесь учить того достоин,
Кто правды свет вокруг себя лиёт?
Чье слово нам как колокол звучало,
Того ль приять дерзнем мы под начало?»
Тут из толпы один выходит брат;
То черноризец был на вид суровый,
И строг его пытающий был взгляд,
И строгое певцу он молвил слово:
«Держать посты уставы нам велят,
Служенья ж мы не ведаем иного! —
Коль под моим началом хочешь быть,
Тебе согласен дать я наставленье,
Но должен ты отныне отложить
Ненужных дум бесплодное брожение;

Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить!
Коль ты пришел отшельником в пустыню,
Умей мечты житейские попать,
И на уста, смилив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать!
Исполни дух молитвой и печалью —
Вот мой устав тебе в новоначалъе».

Замолк монах. Нежданный приговор
Как гром упал средь мирного синклита.
Смутились все. Певца померкнул взор,
Покрыла бледность впалые ланиты.
И неподвижен долго он стоял,
Безмолвно опустив на землю очи,
Как будто бы ответа он искал,
Но отвечать не доставало мочи.

И начал он: «Моих всю бодрость сил,
И мысли все, и все мои стремленья —
Одной я только цели посвятил:
Хвалить творца и славить в песнопенье.
Но ты велишь скорбеть мне и молчать —
Твоей, отец, я повинуюсь воле:
Весельем сердце не разыграет боле,
Уста сомкнет молчания печать.
Так вот где ты таилось, отречение,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал!
Настаньте ж, дни молчания и муки!
Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах!
А вы, в груди взлелеянные звуки,
Замрите все на трепетных устах!
Спустися, ночь, на горестного брата
И тьмой его от солнца отлучи!
Померкните, затмитесь без возврата,
Моих псалмов звенящие лучи!
Погибни, жизнь! Погасни, огонь алтарный!
Уймись во мне, взволнованная кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
В моей ночи звездою лучезарной!
О мой Господь! Прости последний стон,
Последний сердца страждущего ропот!
Единый миг – замрет и этот шепот,
И встану я, тобою возрожден!
Свершилось. Мрака набегают волны.

Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец!
Из мира звуков ныне в мир безмолвный
Нисходит к вам развенчанный певец!»

5

В глубоком ущелье,
Как гнезда стрижей,
По желтым обрывам темнеют пустынные кельи,
Но речи не слышно ничьей;
Все тихо, пока не сберется к служенью
Отшельников рой;
И вторит тогда их обрядному пенью
Один отголосок глухой.

А там, над краями долины,
Безлюдной пустыни царит торжество,
И пальмы не видно нигде ни единой,
Все пусто кругом и мертво.
Как жгучее бремя,
Так небо усталую землю гнетет,
И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает над нею полет.
Порой отдаленное слышно рычанье
Голодного льва;
И снова наступит молчанье,
И снова шумит лишь сухая трава,
Когда из-под камней змея выползая
Блеснет чешуей;
Крылами треща, саранча полевая
Взлетит иногда. Иль случится порой,
Пустыня проснется от дикого клика,
Посыпятся камни, и там, в вышине,
Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется в небе. На легком коне
Появится всадник; над самым оврагом
Сдержав скакуна запятого лёта,
Проедет он мимо обители шагом
Да инокам сверху проклятье пошлет.

И снова все стихнет. Лишь в полдень орлицы
На крыльях недвижных парят,
Да вечером звезды горят,
И скучною тянутся длинные дни вереницей.

6

Порою в тверди голубой
Проходят тучи над долиной;
Они картину за картиной,
Плывя, свивают меж собой.
Так, в нескончаемом движенье
Клубится предо мной всегда
Воспоминаний череда,
Погибшей жизни отраженья;
И льнут, и вьются без конца,
И вечно волю осаждают,
И онемевшего певца,
Ласкаясь, к песням призывают.

И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробуждению;
Так ждет лишь ветра дуновенья
Под пеплом тлеющий пожар —
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И, в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.

Но тщетно я, в бесплодной битве,
Твержу уставные слова
И заучённые молитвы —
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багрецом,
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно!
Юдоль, где я похоронил
Брожение деятельных сил,
Свободу творческого слова —
Юдоль молчанья рокового!
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!
Пустынный ветер, о развей
Мои недремлющие думы!

7

Тщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять.
Годы проходят один за другим, всё бесплодные годы!
Все тяжелее над ним тяготит роковое молчанье.
Так он однажды сидел у входа в пещеры, рукою
Грустные очи закрыв и внутренним звукам внимая.
К скорбному тут к нему подошел один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне!
Тяжкая горесть снедает меня; я плакать хотел бы —
Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Я мог рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!»

Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил:
«Или не ведаешь ты, каким я связан уставом?
Строгое старец на песни мои наложил запрещенье!»
Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает
Старец о том никогда; он отсель отлучился на три дня,
Брата ж мы завтра хороним; молю тебя всею душою,
Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!»
Паки ж отказ получив: «Иоанне! — сказал черноризец, —
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,
Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа
Господу Богу о мне, если ныне умру безутешен?»
Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце.
Собственной полон печали, певец дал жалости место;
Черною тучей тогда на него низошло вдохновенье,
Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки
Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье.
Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так прервано было молчанье.

Над вольной мыслью Богу неуютны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!
Ужели вправду мнил ты, близорукий,
Сковать свои мечты?

Ужель попать в себе живые звуки
Насильно думал ты?
С Ливанских гор, где в высоте лазурной
Белеет дальний снег,
В простор степей стремяся, ветер бурный
Удержит ли свой бег?
И потекут ли вспять струи потока,
Что между скал гремят?
И солнце там, поднявшись от востока,
Вернется ли назад?

8

Колоколов унылый звон
С утра долину оглашает.
Покойник в церковь принесен;
Обряд печальный похорон
Собор отшельников свершает.
Свечами светится алтарь,
Стоит певец с поникшим взором,
Поет напутственный тропарь,
Ему монахи вторят хором:
ТРОПАРЬ

«Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели, —
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.

Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Как ярый витязь смерть нашла,
Меня как хищник низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.

Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновение смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы, —
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба,
Чертоги наши – разрушенье, —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Средь груды тлеющих костей
Кто царь? кто раб? судья иль воин?
Кто царства божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О братья, где серебро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье —
Лишь у тебя на небесах,
Господь, и пристань, и спасенье!

Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, Господь,
В твои блаженные селенья!
И ты, предстательница всем!
И ты, заступница скорбящим!
К тебе о брате, здесь лежащем,
К тебе, святая, вопием!
Моли божественного сына,
Его, пречистая, моли,
Дабы отживший на земли
Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень!
О други, призраку не верьте!

Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах, —
Прими усопшего раба,

Господь, в селениях счастливых!
Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды;
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыдания,
И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье;
Но вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к Господу взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострубит мира преставленье, —
Прими усопшего раба
В твои блаженные селенья!»

9

Так он с монахами поет.
Но вот меж ними, гость неожиданный,
Нахмуря брови, предстает
Наставник старый Иоанна.
Суровы строгие черты,
Главу подъявля величаво:
«Певец, — он молвит, — так ли ты
Блудеешь и чтишь мои уставы?
Когда пред нами братний прах,
Не петь, но плакать нам пристойно!
Изыди, инок недостойный, —
Не в наших жить тебе стенах!»

И, гневной речью пораженный,
Виновный пал к его ногам:
«Прости, отец! Не знаю сам,
Как преступил твои законы!
Во мне звучал немолчный глас,
В неодолимой сердца муке
Невольно вырвались звуки,
Невольно песня полилась!»
И ноги старца он объемлет:
«Прости вину мою, отец!»
Но тот раскаянью не внемлет,
Он говорит: «Беги, певец!
Досель житейская гордыня

Еще жива в твоей груди —
От наших келий отойди,
Не оскверняй собой пустыни!»

10

Прошла по лавре роковая весть,
Отшельников смутилося собрание:
«Наш Иоанн, Христовой церкви честь,
Наставника навлек негодование!
Ужель ему придется перенести,
Ему, певцу, позорное изгнание?»
И жалостью исполнились сердца,
И все собором молят за певца.
Но, словно столб, наставник непреклонен,
И так в ответ просящим молвит он:
«Устав, что мной однажды узаконен,
Не будет даром ныне отменен.

Кто к гордости и к ослушанью склонен,
Того как терн мы вырываем вон.
Но если в нем неложны сожаленья,
Эпитимьей он выкупит прощенье:
Пусть он обходит лавры черный двор,
С лопатою обходит и с метлою;
Свой дух смилив, пусть всюду грязь и сор
Он непокорной выметет рукою.
Дотоль над ним мой крепок приговор,
И нет ему прощенья предо мною!»
Замолк. И, вняв безжалостный отказ,
Вся братия в печали разошлась.

Презренье, други, на певца,
Что дар священный унижает,
Что пред кумирами склоняет
Красу лаврового венца!
Что гласу истины и чести
Внушение выгод предпочел,
Что угождению и лести
Бесстыдно продал свой глагол!
Из века в век звучать готово,
Ему на казнь и на позор,
Его бессовестное слово,
Как всенародный приговор.

Но ты, иной взалкавший пищи,
Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом,
Ты, что пророческого взора
Пред блеском мира не склонял, —
Испить ты можешь без укора
Весь унижения фиал!
И старца речь дошла до Дамаскина.
Эпитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить вины,
Спешит почтить неслыханный устав.
Сменила радость горькую кручину:
Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженье терпит Бога ради.

Тот, кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром —
Избиен, покрытый кровию,
Венчан терновым венцом —
Всех, с собой страданьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных,
Осенил своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление —
К Божью свету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!

11

Темнеет. Пар струится синий;
В ущелье мрак и тишина;
Мерцают звезды; и луна
Восходит тихо над пустыней.
В свою пещеру одинок
Ушел отшельник раздраженный.
Все спит. Луной посеребренный,
Иссякший видится поток.
Над ним скалистые вершины

Из мрака смотрят там и тут;
Но сердце старца не влекут
Природы мирные картины;
Оно для жизни умерло.

Согнувши строгое чело,
Он, чуждый миру, чуждый братьям,
Лежит, простерт перед распятым.
В пыли седая голова,
И смерть к себе он призывает,
И шепчет мрачные слова,
И камнем в перси ударяет.
И долго он поклоны клал,
И долго смерть он призывал,
И наконец, в изнеможенье,
Безгласен, наземь он упал,
И старцу видится виденье:
Разверзся вдруг утесов свод,
И разлилось благоуханье,
И от невидимых высот
В пещеру падает сиянье.

И в трепетных его лучах,
Одеждой звездною блистая,
Явилась дева пресвятая,
С младенцем спящим на руках.
Из света чудного слившийся,
Ее небесно-кроток вид.
«Почто ты гонишь Иоанна? —
Она монаху говорит. —
Его молитвенные звуки,
Как голос неба на земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной?

На то ли жизни благодать
Господь послал своим созданиям,
Чтоб им бесплодным истязаньем
Себя казнить и убивать?
Он дал природе изобилье
И бег струящимся рекам,
Он дал движенье облакам,

Земле цветы и птицам крылья.
Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно!
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину;
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!»
Виденье скрылось в облаках,
Заря восходит из тумана...

Встает встревоженный монах,
Зовет и ищет Иоанна —
И вот обнял его старик:
«О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
Меня ж, молю, прости, о чадю,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!»

12

Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой,
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, кто оковы души сокрушил,
Да славят немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред тобой
И мыслить и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с теплой мольбой
Во имя твое он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!
Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия

И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!

Не с диких падает высот,
Средь темных скал, поток нагорный;
Не буря грозная идет;
Не ветер прах вздымает черный;
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми;
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми, —
То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как Божий меч,
Во прах противников Христовых.

Не солнце красное встает;
Не утро светлое настало;
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод;
Не соловьи, в стране привольной,
Зовут соседних соловьев;
Не гул несется колокольный
От многохрамных городов, —
То слышен всюду плеск народный,
То ликование христиан,
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда.

Упырь

Сочинение Краснорогского ²⁹. Санкт-Петербург. 1841.
В привилегированной типографии Фишера.

Эта небольшая, со вкусом, даже изящно изданная книжка носит на себе все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем. Содержание ее многосложно и исполнено эффектов; но причина этого заключается не в недостатке фантазии, а скорее в ее пылкости, которая еще не успела умериться опытом жизни и уравновеситься с другими способностями души. В известную эпоху жизни нас пленяет одно резкое, преувеличенное: тогда мы ни в чем не знаем середины, и если смотрим на жизнь с веселой точки, так видим в ней рай, а если с печальной, то и самый ад кажется нам в сравнении с нею местом прохлады и неги. Это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тут нет конца деятельности; но зато все произведения этой плодотворной эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности. И хорошо тому, кто в эту пору жизни брал себе за закон стихи Пушкина:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие создания,
И от людей, как от могил,
Не ждал за подвиг воздаянья!

...Вообще, густота и яркость красок, напряженность фантазии и чувства, односторонность идеи, избыток жара сердечного, тревога вдохновения, порыв и увлечение – признаки произведений юности. Однако ж все эти недостатки могут искупаться *идеєю*, если только идея, а не безотчетная страсть к авторству была вдохновительницей юного произведения.

«Упырь» – произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако ж оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему это? Не будем излагать содержания «Упыря»: это было бы очень длинно, и притом читатели не много увидели бы из сухого изложения. Скажем только, что, несмотря на внешность изобретения, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, умение сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом – во всем отпечаток руки твердой, литературной, – все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» – повторяем – есть решительное дарование.

В. Г. Белинский

...Есть, однако, у него сфера, где сходятся обе грани его роковой двойственности, где действует сила еще не осуществленного, но близкого синтеза, – это область, в которой сливаются явь и сновидение, реальность и выдумка. «Меж сном и бдением краток промежуток», и в течение его мир перестраивается, – и как отличить, что в нем – правда и что – видение? Это девять волков или девять ведьм идут ночью по деревне? Слышится ли в самом деле песня там, где гнутся над омутом лозы? Наступает ли просто вечер, обыкновенный вечер без тайны, или в ступе поехала баба-яга и в Днепре заплескались русалки? Вы можете принять то или

²⁹ Краснорогский – псевдоним А. К. Толстого.

другое; незаметно переходит действительность в грезу, и любит поэт играть с сверхъестественным, – например, показывать (в «Упыре») бессмертие человеческого жилища, вечную обитель души...

Ю. Айхенвальд

...Однажды, когда я вернулся домой, Василий Петрович (Боткин) встретил меня словами: «здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобою познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в его Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил».

В назначенный день коляска по специальному шоссе доставила нас из Саблина версты за три в Пустыньку. Надо сознаться, что в степной России нельзя встретить тех светлых и шумных речек, бегущих среди каменных берегов, какие всюду встречаются на Ингерманландском побережье. Не стану распространяться о великолепной усадьбе Пустыньки, построенной на живописном правом берегу горной речки, как я слышал, знаменитым Растрелли. Дом был наполнен всем, что вкус и роскошь могли накопить в течение долгого времени, начиная с художественных шкапов Буля до мелкой мебели, которую можно было принять за металлическую литуую. Я не говорю о давнишнем знакомом Василии Петровиче; но и меня граф и графиня, несказанной приветливостью и истинно высокой простотою, сумели с первого свидания поставить в самые дружеские к себе отношения. Невзирая на самое разнообразное и глубокое образование, в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях «Кузьмы Пруткова». Надо сказать, что мы как раз застали в Пустыньке единственного гостя Алексея Михайл. Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную, обрядную форму. Так гуляя с графиней по саду, я увидел в каменной нише огромную, величиною с собачонку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой – «что это такое?» графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой мистерии. Не удивительно, что в доме, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лестницы во второй этаж была забросана большими мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был тонкий гастроном, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками.

...Не могу не сказать, что с первого дня знакомства я исполнился глубокого уважения к этому безукоризненному человеку. Если поэт и такой, что, по словам Пушкина:

И средь детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он...

– способен в минуту своего поэтического пробуждения привлекать и уносить нас за собою, то мы не сможем без умиления смотреть на поэта, который, подобно Алексею Констант., никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным.

То, о чем мне придется рассказать теперь, в сущности нимало не противоречит моим взглядам на вещи, так как я знаю, что если бы мне говорить только о том, что я совершенно ясно понимаю, то в сущности пришлось бы молчать.

Часу в девятом вечера мы все, в числе упомянутых пяти человек, сидели наверху в небольшой графининой приемной, примыкавшей к ее спальне. Я знал, что Боткин не позволял себе никогда рассказывать неправды, и что от него жестоко досталось бы всякому, заподозрившему его в искажении истины; и вдруг в разговоре, начало которого я не расслышал, Василий Петрович обратился к хозяйке дома:

– А помните, графиня, как в этой комнате при Юме стол со свечами поднялся на воздух и стал качаться, и я полез под него, чтобы удостовериться, нет ли там каких-нибудь ниток, струн или тому подобного, но ничего не нашел? А затем помните ли, как вон тот ваш столик из своего угла пошел, пошел и взлез на этот диван?

– А не попробовать ли нам сейчас спросить столик? – сказал граф. – У графини так много магнетизма.

Столоверчение было уже давно в ходу, и, конечно, мне шутя приходилось принимать в нем участие. Но никогда еще серьезные люди в моем присутствии не относились так серьезно к этому делу. Мы уселись за раскрытый ломберный стол в таком порядке: граф с одной стороны стола против меня, по левую его руку графиня и Жемчужников, а напротив них, по правую сторону графа, Боткин на диване. Возбужденный любопытством до крайности, я не выдержал и сказал: «пожалуйста, будемте при опыте этом сохранять полную серьезность». Говорил я это внутренне по адресу ближайшего соседа своего Жемчужникова, за которым я дал себе слово внимательно наблюдать.

– Кого же вы считаете способным к несерьезности? – спросила графиня и тем убедила меня в неосновательности моего подозрения.

Соприкасаясь мизинцами, мы составили на столе непрерывный круг из рук. Занавески на окнах были плотно задернуты, и комната совершенно ясно освещена. Минуты через две или три после начала сеанса я ясно услышал за занавесками окон легкий шорох, как будто производимый беготнею мышей по соломе. Конечно, я принял этот шум за галлюцинацию напряженного слуха, но затем почувствовал несомненное дуновение из-под стола в мои свесившиеся к краю ладони. Только что я хотел об этом заявить, как сидевший против меня граф тихо воскликнул: «господа, ветерок, ветерок. Попробуй ты спросить, обратился он к жене: они к тебе расположены». Графиня отрывисто ударила в зеленое сукно стола, и в ту же минуту послышался такой же удар навстречу из-под стола.

– Я их попрошу, – сказал граф, – пойти к Афан. Афан., и он сказал: *alles chez monsieur*, – прибавя: они любят, чтобы их просили по-французски. Спросите их ямбом, – продолжал он.

Я постучал и получил в ответ усиленно звучные удары ямбом. То же повторилось с дактилем и другими размерами; но с каждым разом интервалы между ударами становились больше, а удары слабее, пока совсем не прекратились.

Я ничего не понимал из происходящего у меня под руками и, вероятно, умру, ничего не понявши...

А. А. Фет. «Воспоминания»

УПЫРЬ

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

– Вы, верно, кого-нибудь ищите, – сказал он, – а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

– Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу *упырей!*

– Упырей? – повторил Руневский, – как упырей?

– Упырей, – отвечал очень хладнокровно незнакомец. – Вы их, Бог знает почему, называете *вампирами*, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: *упырь*; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира*. *Вампир*, *вампир*! – повторил он с презрением, – это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения – *фантом* или *ревенант*!

– Но однако, – спросил Руневский, – каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

– Знаете ли вы эту старуху? – спросил он Руневого.

– Это бригадирша Сугробина, – отвечал тот. – Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

– Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

– Вы сомневаетесь? – продолжал тот. – Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

– И это упырь? – спросил Руневский.

– Без сомнения, – отвечал незнакомец. – Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

– С донником, мой батюшка? – спросила она.

– С донником, сударыня, – отвечал сладким голосом Теляев.

– Слышите? – сказал незнакомец Руневскому. – Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

– Скажите мне, – спросил Руневский, – каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

– Это совсем немудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, шелкают языком. Это по-настоящему не шелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его *vis-a-vis* ³⁰. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а наместо его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, – но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

– Вы много смеялись с моей кузиной, – сказала она ему. – Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

– Мы мало говорили о присутствующих, – отвечал Руневский. – Разговор наш более касался Французского театра.

– Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки; это в полном смысле слова – бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся?

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадрили.

– Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, – говорила она Руневскому. – Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эпoletы хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на

³⁰ Сидящий или стоящий напротив (*франц.*).

него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

– Смотри ж, мой батюшка, – сказала ему ласково старуха, – к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и всё почти новички, а ихних-то тьма-тьмущая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дескать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатью Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дескать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатя Савельича и про Румянцева.

– Вот приехал бы ты ко мне на дачу, – сказала она ему под конец, – я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатя Савельича. Живу я не так, как жила прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, – прибавила она, указывая на Теляева, – меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

– Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна, – сказал он сладким голосом бригадирше, – и даже... если бы... в случае... то есть... – Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

– Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку. – Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатя Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него не доставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отомстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать об ней невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностию, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю, — говорила она, — что они меня не любят и что я в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда заедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

– Мне самой стыдно за сестрицу, – сказала она, – но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастью, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает.

Таким образом, Софья Карпова, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении.

– Вам, вероятно, показалось странным, – сказала ему на другой день Даша, – что я от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж девять лет, как она скончалась; я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

– Вскоре потом, – продолжала она, – маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменялось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

– Позвольте мне быть вашим другом, – вскричал он, – положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

– Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности.

– Даша, любезная Даша! – вскричал Руневский, – еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

– Можете ли вы в этом сомневаться? – отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов?

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением просторного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

– Спасибо тебе, мой батюшка, – сказала она, – что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

– Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю; этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

– Покорно благодарю, – ответил Руневский, – я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

– Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Дашу, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентинского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скор-

лупа и грязные карты, – все это, вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

– Давайте гадать, – сказала Даша. – Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

– Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

– *Пусть бабушка внучкину высосет кровь.*

– Ах, боже мой! – вскричали девушки, смеясь, – что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

Как филин поймал летучуюмышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу собирается в гости.
Хоть много цепей и замков у ворот,
Ворота хозяйка гостям отопрет.
«Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик?
Зачем ты так побледнела?
Под замком кипит и клубится Дунай,
Ночь скроет кровавое дело.
Не бойся, из гроба мертвец не встает,
Что будет, то будет, – веди нас вперед!»
Под замком бежит и клубится Дунай,
Бегут облака полосой;
Уж кончено дело, зарезан старик,
Амвросий пирует с толпой.
В кровавые воды глядится луна,
С Амвросьем пирует злодейка-жена.
Под замком бежит и клубится Дунай,
Над замком пламя пожара.
Амвросий своим удальцам говорит:
«Всех резать от мала до стара!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»
Сверкая, клубясь, отражает Дунай
Весь замок, пожаром объятый;
Амвросий своим удальцам говорит:
«Пора уж домой нам, ребята!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»
Над Марфой проклятие мужа гремит,
Он проклинал ее, умирая:
«Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род,
Сто раз я тебя проклиная!»

Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,
Пусть бабушка внучкину высосет кровь!
И род твой проклятье мое да гнетет,
И места ему да не станет
Дотоль, пока замуж портрет не пойдет,
Невеста из гроба не встанет,
И, череп разбивши, не ляжет в крови
Последняя жертва преступной любви!»
Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удалцов
К соседу нахлынули в гости.
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил:

– Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

– Бабушка, – отвечала Даша, – я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкаф, и она упала с самого верха.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

– Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазия!..

– То-то, фантазия! – проворчала старуха. – В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! – продолжала она с недовольным видом. – Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию – всё поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взьероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что ответственность читанных им стихов с словами г. Рыбаренки не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слышали другие. Его мучила неизвестность; он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от нее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом поглядывая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

– В зеленых комнатах? – спросил питомец Бахуса.

– Разумеется, в зеленых! – отвечала Клеопатра Платоновна. – Разве ты забыл, что в других нет места?

– Да, да, – проворчал лакей, – в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.

Вообще когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.

– Впрочем, мне все равно, – продолжал лакей, – в зеленых так в зеленых!

– Ну, ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

– Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запираю, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

– А что это за комнаты? – спросил Руневский.

– Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна, – сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху, – дай господь ей царство небесное...

– После, после расскажешь! – сказал Руневский, – прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразила женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

– Чей это портрет? – спросил он лакея.

– Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не считал за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

– Прасковья Андреевна, – отвечал тот, – была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним! Он-то, извольте видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь, их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша

генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

– Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

– Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноного лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

– Вот тут, – говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, – есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынести из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадуются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

– Чувствительнейше благодарим, – отвечал лакей, – желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава Богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце.

«Вот, – подумал он, – картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости!» Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

– Вы ли это? – вскричал Руневский, – об эту пору, в этом наряде!

– Мой друг, – отвечала она, – если я вам мешаю, я уйду прочь.

– Останьтесь, останьтесь! – возразил он. – Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.

– Ах, – сказала она, – мне немного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустила на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

– Где жарко? откуда вы пришли? – спросил Руневский.

– Не спрашивайте меня, – отвечала она, вздрогнув при его вопросе, – не говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу, – прибавила она с улыбкой. – Вы долго здесь пробудете?

– Как можно дольше!

– И всегда будете здесь ночевать?

– Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

– Для того, чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

– Это немудрено, я только сегодня приехал.

– Руневский, – сказала она, помолчав, – окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

– Боже мой! – воскликнул Руневский, – чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

– Ради бога, – закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания, – ради бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

– Даша, Даша! – закричал он в испуге, – что это значит?

– Я не Даша, – отвечало насмешливым голосом привидение, – отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок; но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечой в руках.

– Чего изволите, сударь? – спросил он.

– Я тебя не звал.

– Да вы изволили позвонить. Вот и шнурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел шнурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; а когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть шнурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им – один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют *cauchemar*. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта – ясность и совершенное сходство с действительностью.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

– Что с тобой случилось? – спросил Руневский.

– Воля ваша, – отвечал он, – я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

– Да говори же, что в твоей комнате?

– Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

– Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

– Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

– Александр Андреевич, – сказал он дрожащим голосом, – здесь что-то нехорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

– Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорят: ваш барин звонит! Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу – кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору; теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку – и рука ее была костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

– Позвольте мне ночевать поближе к вам, – сказал лакей, – оно все-таки лучше; да и к тому ж, если вы меня потребуете, буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

– Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила:

– И немудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

– А что касается до Даши, – прибавила она, – то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а

право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатя Савельича по воле отцовской вышла, а уж полюбила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь – хорошо! Не ворочусь – так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поспекал в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убежал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьей, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.

– У нас, видно, одни вкусы, – сказал он, улыбаясь. – Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание.

– Признайтесь, – сказал он, – что, когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего?

– Не могу скрыть от вас, – отвечал Руневский, – что вы мне показались очень странным. Ваши слова, ваши замечания...

– Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

– Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

– На даче у Сугробиной? – повторил Рыбаренко. – Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

– Она теперь у нее, я видел ее недавно.

– Как, и она еще жива?

– Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слышал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

– Странно, – сказал он наконец, – упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?

– Там.

– Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

– Воля ваша, – отвечал Руневский, – я никак не могу думать, чтоб вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

– Как, – возразил Рыбаренко, – вы в них ничего не заметили необыкновенного? Вы не слышали, как Семен Семенович щелкает?

– Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

– О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

– Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы бригадирши, столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

– Вы заметили архитектуру ее дома? – сказал он. – Прекрасный фасад! совершенно в италийском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте, – продолжал он, схватив руку Руневского, – будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

– Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

– Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием *чертова дома* (la cassa del diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья borgo Vico, где была моя квартира, в albergo ³¹ del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришлось в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность *чертова дома*?

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

– Могу вас уверить, синьор, – сказал он, обращаясь ко мне, – что вы напрасно так беспокоитесь и что *чертов дом* нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

– Помилуйте, – возразил я, – зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?

– На это есть более причин, чем вы думаете, – отвечал аббат.

– Как, – спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна, – неужели он делает фальшивую монету?

– Нет, – возразил аббат, – дон Пьетро – большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.

– Кто такой Титта Каннелли? – спросил я.

– Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

³¹ Постоялый двор, гостиница (итал.).

– Скажите же, ради бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про *чертов дом*?

– Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину *чертова дома* с лишком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил, – продолжал аббат, – что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дону Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава Богу, неурожай очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудака, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах, но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что, кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, *il cattivo*.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от villa d'Este. В одно утро приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро, вскоре по возвращении своем из России, пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скорпостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши

в спальню отца, он увидел на стене картину *al fresco* ³², которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фреску на другом месте; ее опять закрасили; но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники не долго останавливались под окнами.

– Вы видите, синьор, – продолжал аббат, – что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому, на берегу озера, недалеко от *villa d'Este*, по ту сторону *Capriccio*, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

– Скажите мне, – спросил я, – что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

– Не знаю, – отвечал аббат. – Но если это вас интересует, – прибавил он с улыбкой, – то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

Этого-то мне и хотелось.

– Но как туда войти? – спросил я. – Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

– Правда, – сказал он наконец. – Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколотенное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь *borgo Vico* и очутились на шоссе, ведущем вдоль озера к *villa d'Este*. Аббат остановился перед одним *palazzo* ³³, которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слышал о таком прекрасном дворце.

– Вот вилла дон Пьетро, – сказал аббат, – вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбуждившую мое любопытство.

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не рассердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько *цванцигеров*.

Вечером было собрание в *villa Sallazar*. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в *villa Urgina*, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальной, а напоследок вызвалось

³² Фреску (*итал.*).

³³ Дворцом (*итал.*).

множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

– Позвольте, господа, – сказал я, – если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков; но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был, по окончании лечения, ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

– Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградой его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седые, глаза мои впали, я в цвете лет сделался стариком – я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывавшегося, с холодной прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смерклося, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах!

– Подождем, – сказал Антонио, – теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечой. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною; она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: «O dio! poverino! Maladetta strada!»³⁴ – омыла ему лицо.

– Это дурной знак! – сказал, улыбаясь, Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

³⁴ О боже! бедняжка! проклятая дорога! (*итал.*).

– Да, – отвечал я, – не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

– О нет, нет! – возразил он, – это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русских!

Мы пошли далее. Минут через десять нас догнала та самая девушка, которая из villa Remondi вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила вполголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез.

– Что она тебе сказала? – спросил его Владимир, когда девушка удалилась.

– Бедная Пенина, – отвечал Антонио, – просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставляла дома.

– А кто ее брат? – спросил я.

– Какой-то контрабандист, по имени Титта.

– А как фамилия этой девушки?

– Каннелли. Но что тебе до этого?

– Титта Каннелли! – воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины, и я бы непременно воротился, если б мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слышал о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампы. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Urgina.

Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебели обтянута шелковою тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев; в одном из них мы увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные, непонятные знаки.

– Это должна быть спальня старого дон Пьетро, – сказал Антонио, приблизив свечу к стене. – Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

– Как она похожа на Пенину, – сказал Владимир, – я бы это принял за ее портрет!

– Да, – отвечал Антонио, – черты лица довольно схожи, но у Пенины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать; знаешь ли что, мне, при взгляде на нее, делается страшно!

Я ничего не говорил, но вполне разделял чувство Антонио.

Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобелинами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелины представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова «Orlando». Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золо-

тое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов.

Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и когда я нечаянно поднял голову, мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.

– Я думаю, мы теперь можем лечь спать, – сказал Владимир, – но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ляжем в трех разных комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжение ночи.

Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

– Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

– Нисколько, – отвечал Руневский, – вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

– Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать, под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

– Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не рассказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

– Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

– Что с тобой! – сказал я, засмеявшись, – с которых пор ты веришь предчувствиям?

– Обними меня! – продолжал Владимир, необыкновенным образом возвысив голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

– Поди, поди, Владимир, – сказал я, скрывая свое удивление, – дай бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется; но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения; но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину-фреску, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другою трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пенину.

– Пошадите меня, синьор, – кричала бедная девушка, – я ничего не хотела у вас украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет?

– Ах, – отвечала Пенина, – после того как я догнала синьора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, верно, слышали. Я из любопытства вошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня; любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг синьора Антонио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам клянусь всем, что дорого моему сердцу, он давно хочет сделаться честным человеком; но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда! О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаяньем, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

– С кем ты там, Пенина? – сказал кто-то, отворяя дверь.

– Ах, это мой брат! – вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, взглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

– А, это вы, signor Russo! ³⁵ – сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. – Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

– Я вас нарочно, – сказал он, – зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За всё я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов. – Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими камнями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пенинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

– Благодарю вас, – сказал он, – вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что, если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

³⁵ Синьор русский (*итал.*).

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пенина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещичками нашел я одну склянку *рококо*, величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пенину и женщину-фреску, и часто, среди самых приятных картин моего воображения, я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

– Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера прекраснейшая из богинь? Парис человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьей в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне!

Я употреблял все силы, чтобы привести его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

– Как, – вскричал он радостно, увидев Антонио, – он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио; но раны нигде не было видно.

– Вот видишь, – сказал Антонио, – я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

– Слава богу, я его не убил, это был только дурной сон!

– Друзья мои, – говорил я, – ради бога, объяснитесь, я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

– Вошедши в свою комнату, – сказал Владимир, – я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baralello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, взглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру.

«Кто там?» – закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и, как будто на невидимых колесах, приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир! что ты делаешь? я Антонио!» Я бросился его подымать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

«Владимир, – сказал он слабым голосом, – я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!»

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонию в его комнату.

– Что ты говоришь? – прервал я Владимира, – я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постели и ничего не знаю про Антонию. К тому ж ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне!

– Ты сам говоришь во сне! – отвечал с досадою Владимир, – никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонию встал со стула и к нам подошел.

– О чем вы спорите? – сказал он. – Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал страшить Владимира.

Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и поворачивал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонию; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонию. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию».

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля, – сказал он, – имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке». – «А как же мне ехать?» – спросил я. «Не иначе, как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам и наконец прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!» – сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладоном. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» – спросил я у грифона. «Это бог Пан», – отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?» – спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым». – «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» – «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается». – «А для чего у него за

поясом пистолеты?» – «Ох, – отвечал с досадою грифон, – вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем!» Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?» – спросил я у грифона. Грифон очевидно смеялся. «Это так, кто-нибудь! – отвечал он, поправляя носом свои перья, – не обращайтесь на него внимания!» Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дуррак, дуррак! ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы. «Парис! – сказал ему Юпитер или дон Пьетро д'Урджина (как называл его грифон), – Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами!» – «О могущий громовержец! – отвечал Парис, – клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвести следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами!» – «Хорошо! – сказал Юпитер, – быть по-твоему!»

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его середины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: «О Сирина! о дочь моя!»

Я совсем забылся, но грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пенину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил намерение. Венера, сложив небрежно руки и приклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пенина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пенина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь!» – закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком: «Да здравствует наш император, великий Антонио-Фу-Цинг-Танг!» – бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно:

– Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку *рококо*. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

– Это ты купил у твоего контрабандиста? – спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

– Ах, боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидел, что смотрю из окна *чертова дома*.

– Как мы сюда попали? – спросил я, обращаясь к Антонию.

Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался;

но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

– Господа! – кричал он снаружи, – отворите ворота; вы арестованы от имени правительства!

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы?

– За то, – отвечал он, – что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивши мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту (известного археолога R...i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привести аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой *in folio*³⁶ и прочитал следующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Giorambatista Cannelli, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник».

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважение и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открыл мне, что *чертов дом* построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с тартаром. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими *упырями*, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

– Что ж, – спросил его Руневский, – и вы не делали никаких розысканий о вашем приключении?

– Делал, – отвечал Рыбаренко. – Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

– И что ж вы узнали?

– Пенина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondì на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondì и виллою d'Este, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

³⁶ Книга большого формата – в лист, согнутый пополам (лат.).

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого воспоминания! Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой рассудок, и бывают минуты, что я готов лишиться себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради бога, берегитесь, любезный друг, а особенно не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полнозвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику.

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовью смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья, и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.